

СМОЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ
ДНЕВНИКИ
ВОСПИТАНИЦ



КАК ЖИЛИ ЖЕНЩИНЫ РАЗНЫХ ЭПОХ

Как жили женщины разных эпох

**Смольный институт.
Дневники воспитанниц**

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Смольный институт. Дневники воспитанниц / «Эксмо»,
2017 — (Как жили женщины разных эпох)

ISBN 978-5-906880-71-0

По указанию Екатерины II в первом женском образовательном учреждении должны были возвращаться «девицы новой формации» для того, чтобы образованные и культурные выпускницы, став супругами достойных мужей, произвели на свет «совершенного человека». Режим в Смольном походил на тюремный: благородные девицы жили по девять человек в одной комнате, рано ложились спать и рано просыпались, без конца находились под пристальным взглядом надзирательницы, питались скудно. Только богатые девочки могли себе позволить за дополнительную плату пить чай в одной комнате с педагогами или заплатить сторожу, чтобы он в голенище сапога таскал им из ближайшей лавки запретные сладости. Обо всех подробностях жизни воспитанниц Смольного рассказывает эта книга. Объединенные под одной обложкой воспоминания знаменитых выпускниц института как нельзя лучше рассказывают о том, как проходила жизнь смолянок.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-906880-71-0

, 2017
© Эксмо, 2017

Содержание

Софья Дмитриевна Хвощинская. 1824–1865. Воспоминания институтской жизни	6
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Смольный институт. Дневники воспитанниц

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

Софья Дмитриевна Хвоцинская. 1824– 1865. Воспоминания институтской жизни

...Недавно случилось мне встретиться с тремя бывшими сверстницами по Московскому Екатерининскому институту. Мы не видались с самого выпуска, и теперь, вместе, как-то живее припоминалось старое время.

Это старое время ушло очень далеко. Мы кончили курс около шестнадцати лет тому назад. С тех пор уже всеми нами прожита лучшая часть жизни, и у каждой из нас она вышла такая особенная, такая непохожая на жизнь другой, и так мы стали несходны ни в характерах, ни в образе мыслей, ни в малейшем движении, – что невольно обратились к прошлому. Казалось, каждая, не узнавая друг друга, хотела допроситься у этого прошлого, почему ж не осталось между нами хоть тени, хоть самой маленькой тени сходства? Шесть лет под одною кровлей, единственно отданных воспитанию, совершенное равенство этого воспитания, глубоко обдуманного, строго выполненного, и с такою определенной целью – приготовить будущих членов семейства, общества. Казалось, как бы не уцелеть хоть общим чертам этого приготовления? Если не из чего другого, то Институт наш – заведение первоклассное, стоит выше всех частных пансионов, выше других институтов. У нас допускаются только самые благородные девицы, только одной шестой дворянской книги. Ясно, что это правило всегда имело целью украшать верхушки общества такими представительницами, которые могли бы служить примером женщинам более смиренного круга. Ясно, что для выполнения этой цели были потрачены на нас всевозможные заботы. Мы, конечно, должны были оправдать их, выйти тем, чем в институте желали, чтобы мы вышли. Институтские правила и склад должны были сберечься в нас, как неоцененный дар, чрез все житейские перевороты. Нам следовало бы узнавать друг друга с полуслова. Но вышло иначе. Встретясь, мы заметили, что стали так разнохарактерны, как будто учились на противоположных концах земного шара.



Московское училище ордена св. Екатерины, также Московский Екатерининский институт благородных девиц, – одно из первых женских учебных заведений в России

Странно, эта встреча была похожа на первую, когда нас, «новеньких», только что свозили учиться тоже с разных концов родины... Из глубины пустынных деревень, из уездных городов и губернских, и тут же, из переулков и аристократических улиц самой Москвы, родители привозили девочек. Святылище знания гостеприимно растворяло пред ними двери...

Какое далекое время! С тех пор, конечно, многое изменилось в институте. Не знаю; с самого выпуска мне не удалось быть там ни разу...

Я была своекоштная, или, как говорят у нас, «своя». Своekoштные съезжались раньше казенных; те должны были поступать по баллотировке, в августе, после летней вакации. Некоторых «своих» отдавали еще в феврале и марте, то есть в самое время выпуска кончивших курс и перемещения меньшего класса на их место в старшие отделения. В то время институтский курс разделялся таким образом: два класса, меньшей и старший; в каждом ученицы должны были пробыть по три года; в классах по три отделения, 1-е, 2-е и 3-е в старшем, 4-е, 5-е и 6-е в меньшем. Приемной программы для поступления не было. Если «новенькая» девочка, казалось, знала что-нибудь, особенно если говорила порядочно по-французски или по-немецки, и к тому же, имела выдержанные манеры, ее сажали в четвертое отделение. Минут пять экзамена решали дело. Из этого четвертого отделения, высшего по наукам в маленьком классе, девицы прямо переходили в первое отделение старшего. Туда же они уводили с собою и своих классных дам, на все остальные три года. Девочек, смотревших робко, с намеками на знание священной истории и французских слов, с физиономиями, обещавшими почему-то исправиться, сажали пятое отделение, откуда они шли во

второе. Девочек, с физиономиями совсем тусклыми или уже некстати острыми, когда все их познания заключались в одной грамоте, таких девочек отводили в шестое отделение. Оттуда все они, с редкими исключениями, переселялись в третье отделение и клеймились грустным прозвищем дритток. Там программа учения едва равнялась с программой высшего отделения маленького класса. Было еще в институте крошечное отделение, седьмое, куда помещали совсем безграмотных, или крошек, которым суждено было пробыть девять и больше лет вместо шести. Последние еще достигали почетных скамеек, но первые непременно начинали дриттками. Таким образом все дальнейшие познания девиц зависели все-таки от того, чему девочку выучили прежде, дома, а между тем, институт не требовал никакого приготовления заранее, ни по какой программе. Институт вполне брал на себя обязанность выучить нас так, как лучше уже не могут быть выучены женщины в России...

Нас привозили, но пора стояла хлопотливая, шумная; готовился выпуск, а наше время было все впереди. Нас кое-как, внаглядку, рассадили покуда с воспитанницами, которые недели через две-три, должны были уйти в старшие отделения.

Я попала в четвертое. Первое мое впечатление было ужасно смутно. Определить его едва ли не труднее, чем вспомнить первые сознательные минуты раннего детства... Длиннейшие коридоры, огромнейшие залы, бесконечные дортуары, лестницы и лестницы, – простор и неуют после домашней тесноты; запах курения уксусом, и с ним еще другой, кислый с сыростью, от мокрых полов, вымытых шваброю, – запах, который с первой минуты навеки остался у меня в памяти и почему-то стал неразлучен с мыслью обо всем казенном... Я убедилась, что я в другом мире, а о том, где жила прежде, уже и думать нельзя, да его уже и вовсе нет; я даже ни о чем не жалела. Покуда меня вели к директрисе, я оглядывалась на однообразную, беспредельную желтую краску стен, и (как теперь помню) мне вообразилось, что это должно быть такое место, где ничего не едят. Лицо директрисы мне очень понравилось. Я никогда, ни прежде, ни после, не встречала почтенной женщины прекраснее ее. У нее был гордый вид, но он не отталкивал, а напротив, подчинял себе невольно. Она очень мило сморщила на меня брови, улыбнулась покровительственно и ласково и, кликнув какую-то пепиньерку (воспитанница закрытого женского учебного заведения, окончившая его и готовящаяся к педагогической карьере), игравшую в ее зале на фортепьяно, велела отвезти меня в класс. Мать моя оторопела за меня. Это была минута разлуки. Мать робко заплакала, я ее целовала почти равнодушно. От взгляда ли чужого лица, от чужих ли комнат кругом, только во мне не осталось никакого чувства. Я даже не заметила, как уехала моя мать. Директриса сама подала ей знак прощанья.

Меня увели в четвертое отделение. Мой приход прервал на минуту урок; сделалось маленькое замешательство. Солнечный свет ударил мне в глаза, – я ничего не могла разобрать. Пепиньерка сказала что-то кому-то сидевшему в простенке; оттуда вышла дана и взяла меня за руку. Она стала тихонько протискивать меня между сидевшими девицами и их пюпитрами, и наконец сказала: «ici». Я села. С обеих сторон на меня глядели соседки, беленькие, в беленьких фартуках и с голыми шейками. Мое пестрое платьице, казалось, им не нравилось. Помню, однако, что оно было сшито по моде, а зеленые камлотовые платья на девицах были вовсе не модны... Кое-как, однако, я осмотрелась. Классная комната была далеко не нарядна; желтые штукатурные стены, обвешанные плохими ландкартами; две черные доски на станках, исчерченные мелом, и ряды скамеек с пюпитрами, горою возвышавшиеся от середины комнаты до стены. Скамейки, выкрашенные темно-зеленою краскою, смотрели немного мрачно... В простенке был такой же крашенный столик, и за ним сидела классная дама; другой столик стоял посреди комнаты; и за ним сидел учитель. Девицы, на скамейках впереди меня, смотрели не шевелясь на учителя. Я вглядывалась, как искусно были они причесаны, в две косички, когда над моим ухом произнесли: «écoutez le maître, mademoiselle...» Классная дама воздушно проходила между рядами.

Я начала слушать. Шел урок русского языка. Учитель, краснощекий, плотный старик с черными бровями, объяснял что-то, и вдруг сказал: «г-жа Мезинцева».

Я обернулась и чуть не ахнула. Рядом с девицей, ставшею на самой высокой скамейке, чтоб отвечать, сидело маленькое существо, от которого была видна одна голова. Это была моя кузина, Варенька Г.

Мы жили в одном губернском городе, и я знала, что Вареньку тоже отдадут в институт; но ее родные прежде нас уехали в Москву. Варенька, как она сказала мне потом, поступила только часом раньше меня. С высоты своей скамейки она увидела мой взгляд и весело кивнула мне головой. Затем она не глядела на меня больше, наострив глаза и уши на учителя.

Варенька была девочка крошечная ростом и прелестная собой; я ее ужасно любила. Еще дома у нее была страсть учиться, пылкая страсть, не то что наше обыкновенное детское желание знать урок, чтоб избежать наказания. Книжка или серьезный разговор имели для Вареньки такую притягательную силу, что часто нам, сверстницам, приходилось просто тащить ее к себе, за ее длинные косы. Она и для нас была золото. Она устраивала нам театры, втянув в дело и старших, сочинила нам пьесы для этих театров, выдумывала всевозможные игры. Без нее ничто не клеилось. Это был маленький домашний дух, разнообразный, умный и добрый; он обещал быть еще умнее и добрее. Варенька с восторгом узнала о намерении отдать ее в институт; она бредила, как будет много учиться, воображала, что будет хватать с неба звезды. Институт – это уже такое место, где с нею будут говорить много-много, все хорошее и дельное, и где сама она будет много говорить. Счастливое, любимое и любящее дитя, Варенька все-таки торопила отца и мать отвезти ее поскорее. Она обещала, даже побожилась непременно выйти первой, то есть достигнуть того горнего места, где теперь заседала. Это не было ни педантство, ни гордость. Вареньке хотелось быть первой, потому что, как говорила она, первая бесспорно уже все знает и у нее все добродетели, – а это так хорошо!

– Il faut écouter le maître, mademoiselle, – повторили мне.

Я было загляделась на Вареньку. Клочок ее розового платица весело алел на солнце – платице мне знакомое... Как бы с ней уйти? Кругом все серьезные лица и никому до нас дела...

Но первая ученица, m-lle Мезенцева, начала что-то громко читать. Варенька приклеилась к ее локтю и раскрыла рот. Это было сочинение на заданную тему: «Бегство Наполеона из России». Потом кто-то прочел наизусть: «Везувий пламень изрыгает». Пробыло двенадцать часов, в коридоре зазвонили к обеду, учитель встал, и все за скамейками ему присели. Классная дама скомандовала «par pairs» (парами (фр.)). Мне проделали руку под руку моей соседки...

Я решительно была в полусне и все молчала. Зато Варенька моя была как дома. Ей, казалось, и тепло, и привольно. Она вскочила с лавки, поцеловала меня, потом бросилась и облобызала классную даму. Удивленная дама улыбнулась и поставила ее в пару. После я узнала, что она точно так же облобызала и директрису, и поручила ей, ей самой, чтобы пирожки и пряники, привезенные Варенькой из дома, были отнесены в тот дортуар, где Вареньке назначат спать. Затеи она опять повисла у директрисы на шее. Только позднее, когда Варенька стала институткой, она поняла, какие натворила беззакония...

За обедом нас посадили возле классной дамы. Я ничего не ела; Варенька кушала с аппетитом. Она бойко рассказывала классной даме о своих родных, хотя ее не спрашивали. Дама только слушала снисходительно, а Варенька смотрела ей в глаза, будто ожидая, что вот ее сейчас уже чему-нибудь научат. После обеда нас повели в рекреационную залу. Это была огромная комната, совсем пустая, с двумя, тремя скамейками, к которым допускались только не совсем здоровые девицы. Вареньку обступили. Она была такая хорошенькая и любопытная, что к кружку подошли и другие классные дамы. Они смотрели на Вареньку,

на эту невоспитанную юность со сдержанною ужимкой, которую я поняла только в последствии, когда у меня самой явилась такая же ужимка, когда я оценила превосходство институтской *manière d'être* и совершенства автоматической выправки... Варенька казалась теперь маленькою шутихой. Она, моя голубушка, так и тараторила. Ей очень не понравилось сочинение первой ученицы в еще менее объяснения учителя, и поймав эту первую ученицу, она выражала свое мнение: – «Что такое вы написали: “подъяв свое победоносное оружие!” Мне кажется, это тяжело написано. А учитель еще приказал, напишите: сей великий полководец, а не этот великий полководец... Сей... Я читала в одном журнале, уже нынче не пишут, не хорошо...»

М-Ше Мизинцева презрительно не отвечала; ей было шестнадцать лет, и она уже заранее, как и вся «первая лавка» была, зачесана не в косички, а почетно в косу, предвестницу старшего класса. На первый раз Вареньке спустили. Она, однако, не унималась. Рядом с ней что-то заговорили две воспитанницы, и должно быть, интересное, потому что Варенька так к ним и кинулась. «Ах, что вы сказали, повторите!» Ей не повторили, но я тоже услышала эти фразы, и мне с новинки показалось дико. Девушки говорили о предметах своего обожания. Одна сказала: «*elle est belle comme, je ne sais, царица*»; а другая: «*je l'aime comme, je ne sais, херувим...*» Дело в том, что русское слово сильнее выражает качество, а чтоб иметь право употребить его, надо было непременно оговориться словами: «*je ne sais*», иначе вам передавали картонный язык за нарушение приказа говорить по-французски. Когда я стала сама говорить такие вещи, я употребляла только один диалект. Может быть похвалы выходили и слабее, за то безопаснее... Язык на моей спине производил на меня ощущение ползущего таракана...

Улучив минуту в вечернюю рекреацию, я шепнула Вареньке, как я рада, что мы вместе, и ни с кем не будем связываться. Она меня немножко задушила (целуя, она имела привычку немножко душить), но сказала с восхищением: «Зачем же нам сидеть одним. Я хочу быть со всеми, это будут все мои друзья, непременно...» И когда мы пришли спать в дортуар, помолились и разделись, Варенька пошла с поцелуями ко всем девицам по очереди. Дортуарная служанка отдала Вареньке ее пирожки и пряники; она разложила их по табуретам всех девиц. Девушки тихонько засмеялись, поблагодарили и сели. Эта гастрономическая нежность ко всем, без исключения, и душевные излияния, казалось, были не совсем в нравах жителей... Варенька все просила о дружбе.

– Но ведь вы останетесь в маленьком классе, какая же дружба? – сказала ей наконец одна девица, тоном неопровержимого отказа.

С Вареньки, вообще, скоро сбили спесь и веселье. На другой день нас повели в закройную и одели в камлотовые платья. Маленькая оригинальная личность моей кузиночки стала стираться в одну общую форменную краску...

До устройства будущего маленького класса, то есть до перехода настоящего в старший, мы, новенькие, были под надзором его классных дам, сидели в его отделениях, спали в его дортуарах. Уроков нам почти не задавали; учителя не обращались к нам с вопросами. Нас отдали в распоряжение первым ученицам. В свободные «перемены» они обязаны были занимать нас диктовкой, и по мелочи, вопросами из разных предметов. Та, которой меня поручили, была девушка по шестнадцатому году, красавица. Она принялась учить меня с покровительственным тоном, который очень шел к ее изящной холодной наружности. Я ее невзлюбила. Хотя у меня не было Варенькиных претензий на братство, нежность и ласки, но все же я была так глупа, что вертелась волчонком, от серьезных минок моей учительницы. Мы, маленькие, еще не понимали магического слова: «скоро быть большой». Заплесть волосы в одну косу, знать две косички только как наказание, выйти из *morveuses*, не знать презренного угла, угрозы розгой (впрочем, никогда невиданной), – да тут поднимешься на три аршина! Как с такой высоты смотреть на крошечный мирок, где девчонкам шьют пла-

тя нарост, со складочкой, где непокорные ноги топчут башмаки набок, а удлиняющиеся руки то и дело требуют новых холщевых перчаток?.. Взрослые девицы поселили в нас, наконец, должный страх и уважение. И Варенька присмирела так, что в одном горестном обстоятельстве, при всей правоте своей, даже не возвысила голоса. Обстоятельство это поразило Вареньку в самое сердце. У нее похитили книжки. Варенька привезла с собой какие то хорошенькие, в прелестных переплетах. Одну книжку попросили дать прочесть; Варенька дала. Книжка не возвратилась. Затем из табурета в дортуаре унесли и другие. Варенька видела и книжки, и свою злодейку; издали, несмелым шагом, и ломая свои маленькие пальчики, следила она по рекреационной зале за злодейкой. Та видела Вареньку, но Варенька промолчала. Книжки так и пропали.

Помню, что об эту самую пору совершила я свой первый подвиг, или, вернее, вдруг показала неожиданную прыть. Сама не понимаю, как это со мной случилось. Две недели я была как сонная, двигалась и раскрывала рот только по неизбежности, и не чувствовала никаких самолюбивых поползновений явить перед институтом черты моего характера. Несмотря на то, в мою голову села дурь. Она села с первого дня, и мучила меня. Мне было досадно, зачем кругом такая тишина. Тихо так, что душно, что почти физически тошно... Когда же будет шум? Утром встанем – говорим тихо; помолимся богу, позавтракаем – тихо; там учитель – опять тишина. Парами ведут к обеду – молчи; за обедом говорят вполголоса. После обеда, положим, рекреация, но не кричат, не хохочут, а более идет шуршанье ногами; там опять учитель до пяти часов; с пяти до шести хотя и рекреация, но, должно быть, тоже нельзя шуметь слишком много, пепиньерка напоминает: «Pas autant de bruit, mademoiselles...» (Не так шумно, барышни...) С шести до ужина приготовление уроков, и больше шепотом; в восемь ужин, и поведут безмолвными парами. А там и спать ложись, и наступит тишина мертвая.

Я думала, думала, и вдруг протестовала. Нас вели спать, мы выступали на цыпочках. Классная дама была сердита и шикала. В дверях дортуара сделалось маленькое замешательство. На нас еще шикнули. Тогда я опустила голову и стукнула в пол ногою, что было мочи. Эхо прокатилось по коридору...

После молитвы начался разбор... Никто не заметил, что козья выходка была моя, никто меня не выдал. Все отпирались и я отперлась. Классная дама грозила поставить нас на колени до полуночи. Она ушла к себе, а мы ждали приговора. Я начала дремать стоя, и совесть не мучила меня за безвинных. Должно быть, классной даме самой наконец захотелось спать. Не добившись правды, она выслала нам приказ, чтоб и мы ложились. Я заснула приятнее всех дней, будто сделала доброе дело.

Припоминаю этот случай, образчик того, как мои душевные побуждения сбились с толку. Позднее, таких случаев было много...

Наконец, нам дали простор. После недели экзамена, девиц перевели; опустелые скамьи маленького класса, по всем отделениям стали быстро наполняться вновь приезжими. Образовался новый мирок из разных племен, наречий, состояний, и как в каждом вновь создающемся мирке, в нем шла неурядица. Боролись чувства, кипели страсти – но недолго. Классные дамы, собравшись с новыми силами, скоро привели его в гармонию.

Передо мной, как в тумане, проходят наши маленькие лица... Вот и моя скамейка, и мои соседки...

Вот дочка непременно рачительных, зажиточных, но строгих родителей; она причесана волосок к волоску. Платьице темненькое, под душку, приседает хоть неловко, но почти-точно, смотрит, если не со смыслом, то послушно. Родители передали классной даме денег на непредвиденные расходы девочки. Девочка знает, сколько их, до копейки, и будет тратить немного и аккуратно, – тратить покуда не на лакомства, а на покупку носового платка, если случится насморк и казенного полотна будет недостаточно. У нее есть и сундучок,

прочный, с крепким замком и ключиком. Там щетки, гребенки, мыло, все нероскошное, там наперсток, нитки, иголки, чтобы не сметь одолжаться пустяками, потому что стыдно. Девочка так сначала и смотрит, что не одолжится. Вот уроженки Москвы, но у них непременно есть сытная, степная деревня, они не из «тонного» семейства; все это видно с первого взгляда: барышни полные, высокие, краснощекие, одеты по замоскворецкой моде. Маменька их такая же, только покрупнее; манеры у нее размашистые. Дома у них, верно, много шуму и даже крупной брани, но семейство от этого только здоровеет. Маменька будет ездить часто, и в залу, и к классной даме, и в неприемные дни; дочки не будут ее стыдиться (как это зачастую бывает в институте); маменька так непоколебимо и независимо смотрит с своими манерами, не признает необходимости быть потише, что покорит даже деликатные нервы классной дамы. Здоровье и безмятежность еще долго продержатся на лицах барышень. Вот еще здоровая и богатая, но это уже совсем степная. Она из многочисленного семейства, где предположили сбыть с рук одну, и чтобы в семье была одна воспитанная. Она смотрит так, что долго не поймет никакой науки. После обеда она грустно обводит глазами стол, будто ищет пирожного или лакомства, но не изящного. Корсет вызовет ее первые горькие слезы; назидания классной дамы покуда отскакивают от нее, как от стены горох. Но вот зато сейчас привезли двух очень воспитанных девочек; классная дама тоже засуетилась, и выговаривает их имена Adele и Zina с особенною изысканностью. Это две аристократки; фамилия громкая. Девочки вялые, болезненные; покуда нам будет с ними, наверное, скучно; они станут втихомолку кривляться или сидеть вдвоем, подняв носики... Но это только покуда... Им позволят обедать за лазаретным (хорошим) столом и во время уроков не снимать пелеринки. Маменька их будет видеться с ними у директрисы, а не в приемной; у них знакомые и родственники между членами совета, сенаторами. Сенаторы, приезжая (всегда в обеденное время), потреплют Зину и Адель по плечу, спросят, здорова ли маменька и хороши ли кушанья. Вот и сама маменька входит с директрисой в классную комнату. Дама худая, в шали, гордо-кислая, разоренная аристократка... Богатых аристократических детей в московском институте почти не бывает (при мне, по крайней мере, не было). Такие отдают в петербургский институт, особенно в Смольный, из честолюбивых или блестящих видов. Шестнадцать лет тому назад Москва не была сцеплена с Петербургом железною дорогой, и высокие посетители приезжали к нам очень редко... Аристократка-маменька обводит нас тусклым взглядом. Вот она прошла мимо лавки, сронила тетради, и даже не сказала pardon... Впоследствии Адель и Зина будут немножко стыдиться своей маменьки... Годе через полтора им будет особенно неприятно, когда маменька, узнав, что лучший друг Адели и Зины – какая-нибудь «mlle Кривухина из Сувалок», сделает дочерям кислую гримасу... Рядом с Зиной и Аделью сидит девочка. Она красавица, одета от Рене, и в прелестных ботиночках. На первых порах кажется, нам не будет от нее житья. Она капризница, избалованная, у нее нет старших, кроме молодой замужней сестры, она выгнала из дома десяток гувернанток, институт она уже бранит, она брезглива, у нее все одно слово: détestable (отвратительный, гнусный – фр.). Она не проживет у нас долго, а если проживет, то до конца останется сама собой; ее уже не переделаешь. Это будет наша мучительница, она притягивает к себе, потому что она прелесть, мы будем искать ее дружбы, дрожать ее гнева, обожать ее, даром что она маленькая. У нее все каприз: и ее благородное заступничество в общей беде, и презрение к маленьким низостям, и желание учиться, все на минуту, все, покуда не наскучит... Вот она поглядывает на свою соседку слева, поглядывает, как на маленькое животное. Недаром: та всю рекреацию не перестает жевать яблоки, варенные в меду. Можно поручиться, что эта девочка – единственная внучка у богатой бабушки, сирота, и жила под бабушкиною кацавейкой. Старуху едва не стукнул паралич в день отправления внучки. Она с своею Алефтиночкой снарядила в институт и няньку, а в комнату классной дамы снесли целые кульки съестного и вручили ей письмо старухи, писанное крючками, чтобы при Алефтиночке оставили няню и больше

кормили ее, сироту Божию. Алефтиночка ест и плачет; она выйдет из института, не смекнув, зачем ее отдавали. А покуда ее отведут в седьмое отделение, начинать азбуку.



Москва в XIX веке

Вот еще две-три генеральские дочери, еще несколько дочек богатых помещиков и значительных чиновников. Их будут часто навещать, у них не прервется связь с родным гнездом. То дяденька и тетенька, то кузены и кузины, то посторонние привезут конфет, изредка даже светских новостей, рассказов о театрах и т. п. (Светские новости, впрочем, мало нас интересуют.) Любезность этих посетителей к классным дамам смягчает иногда отношения классной дамы к посещаемой институтке и умиротворяет многое. Такие институтки большею частью обожают не институтку, а какого-нибудь далекого, редко выдаемого кузена, или никогда не виданного актера и актрису. Это, может быть, единственные головы у нас, мечтающие (и то весьма слабо) о будущих балах, нарядах, любви и замужестве...

Но вот целые ряды других маленьких личностей... Это существенная часть институтского населения. Родные этих детей – губернские и департаментские чиновники, гнущие спину за делом или перед начальником, берущие взятки, чтобы воспитать семейство или откладывающие честную, трудовую копейку; помещики ста душ, а если более, то душ запутанных, заложенных или разоренных; господа в отставке или вдовы с пенсией, учителя гимназий, профессора университетов, обремененные семействами. Все люди, то с колеблющимися средствами к жизни, то хотя прочно, но зато скудно обеспеченные... Эта категория небогатых и скромного происхождения девиц, в сравнении с первой категорией, богатых и знатных, – многочисленна.

Большая часть небогатых родителей редко навещает дочерей. Из губерний далеко; хорошо, если случатся дела в Москве, так заодно. Московским дорого: институт не ближний свет кому, например, из Замоскворечья; в ростепель не выдержит не только карета, но и все выдерживающий ванька. Некоторые же родители просто побаиваются института. Иным помещикам, зажившимся на деревенском просторе, от всего жутко: и швейцар слишком важный барин, и залы такие прибранные, и классная дама будто косится... Другого отца запугает

сама дочка: на второй год своего курса она придет в немой ужас, если ее на всю залу назовут «дочуркой» и раскроют для нее широкие объятия. Отцы вообще ездят в институт редко и сидят недолго. Кому некогда, кого (приезжего) затянет опекунский совет и московские веселости, да и вообще, сколько я заметила, отцы у нас не охотники вести беседы с десятилетними или даже пятнадцатилетними «дочурками». Больше ездят матери и родственницы. Но эти дамы (если они не богатые или не знатные или не были знакомы прежде с институтскими властями) часто совершают эти поездки как подвиг; величие института внушает им робость. В приемные часы они тихонько наговорятся с дочерьми, отклоняют возможность знакомиться с директрисой и с затруднением приступают к знакомству с классными дамами. Очень, очень немногие родители любят институт искренно. От многих после выпуска случилось мне слышать другое...

Но покуда мы, небогатые девочки, вступаем в первый период нашего воспитания, еще не ступевалось влияние дома, особенности привычек, миниатюрная свобода мнений. Из этой категории небогатых девочек выйдут самые прилежные, едва ли не самые способные к труду; между ними надо искать и самые лучшие характеры. В младенчестве они испытали лишения, но не горькую нужду, убивающую детские силы; они видели нравственные страдания, вытерпели и свою долю страданий. Эти девочки будут у нас самые честные в дружбе, более других самоотверженные; они же сумеют придать нашей жизни разнообразие и прелесть. Это не дело богатых: те большею частью монотонны, тяготятся институтом, это не дело и беднейших.

Вот передо мной и маленькие лица этих беднейших... И сколько, сколько их! Что было исписано просьб под бедными кровлями, что было страха, примут или не примут девочку? Она лишняя; под этою дворянскою кровлей тесно; там, право, нечем жить. Надо выучить дочь; воспитание – кусок хлеба. Вот здесь эти девочки на всевозможных иждивениях... Идет баллотировка, билет не вынул, мать упала сенатору в ноги. Он принял ее дочь на свой счет. Прелестная крошка крестится и смеется; за ней идет другая, тоже крестится и вынимает счастливый билетик... Дома, верно, отслужат молебен. Дом опустел, но зато на шесть лет какая экономия в расходе! Удастся ли в эти шесть лет хоть раз увидеть ребенка?.. Иному вряд ли. Иная мать не соберется приехать и к выпуску; благотворители доставят дочь, а бог милостив, и совсем не привезут: дочери посчастливится остаться в пепиньерках...

Нечего делать себе иллюзий; между дворянскими семьями даже шестой книги, этими «сливками» общества, встречается страшнейшая бедность.

Из этого последнего отдела вспоминаются мне оригинальные личности...

Какие уморительные девочки! Вот две сестры – они выросли в походах своих отцов, пехотинцев-майоров; в их приемах есть что-то военное. Вот сибирячка – у нее дикая фамилия, недаром же она из дальних-дальних тундр; она молча дивуется на все, и на себя, что она тут, и на науку, особенно на немецкого учителя и танцевальную учительницу; она долго будет дивиться и, сидя за черным столом (стол ленивцев), может быть, не раз вспомнит свои тундры. Вот дочери привольных садов Малороссии: одна – это ясно – ничего не видала дальше огорода; она, кажется, глазами ищет огорода в классной комнате; ей душно, перо не хочет выводить французских каракуль; лучше бы полазить по лавкам, как, бывало, по деревьям за грушами... Другая – из тихого Конотопа; она глупенькое, но добросердечное дитя; она будет осклабляться, когда мы, злые, подскажем ей в классе вздор; она будет нашею маленькою шутихой, и мы будем ее любить. Вот какая-то грузинская княжна: крошечная, черненькая, коротко остриженная, волосы торчком стоят на маковке: она ничего не смыслит. Но эта девочка откуда? неужели тоже из «сливок» общества? Нет, невозможно, – это из какой-то такой глуши, где живут первобытные люди, где плохо учит сама мать-природа. У нее привычки великороссийских дикарей... Институт может прийти в ужас. Но зачем отчаиваться? все пройдет, и даже лоск наведется. Вот ее слушают две-три бойкие девочки и

смеются. Эти смотрят так независимо, так свободно, что на их упрямые натуры потратится много труда...

О бедные наши будущие дриттки, бедные mauvais sujets! Где вы теперь? Сколько из вас теперь на свете хороших женщин! Добрые существа, как кротко и беспечно простили вы вашему прошлому!..

В одно утро к нам влетели две бабочки, прелестные, в беленьких платьицах, в розовых газовых шарфиках. Они влетели в один особенно пасмурный день: класс смотрел угрюмо, шла арифметика; у черной доски стояли две несчастные, без передников – в наказание; они омывали слезами ряды неправильно изображенных триллионов. Под пером раздраженного учителя выводился нуль; классная дама бранилась. Бабочки присели на скамье. Они говорили на неведомом языке (английскому не учили у нас в то время). Взросшие в холе родного дома, бабочки ничего не знали. Бедненькие! Наука показалась им чудовищем, прикосновение грубых одежд помяло им крылышки. Вместо запаха цветов, в столовой (время было постное) встретила их атмосфера копченой селедки. Не прошло и полугода, как наши бабочки улетели обратно. Их взяли потому, что они буквально ничего не могли есть...

Впрочем, такие эфемериды бывали у нас редки. Вообще двенадцатилетним детям, избалованным, в кружевах и бархате и уже светским от пеленок, не место в казенных заведениях; они не выживут. Наш же институт шестнадцать лет тому назад был далеко не роскошен. Он был даже беден в сравнении с другими заведениями. Александринский (впоследствии Николаевский при Воспитательном доме) был перед нашим настоящим дворцом, и отделкой помещения, в хозяйственную часть. Потом здание этого института было обращено в кадетский корпус. Мне удалось быть там. Великолепные коридоры, паркетные полы, бронза... Невольно навертывался вопрос: к чему?..

Признаюсь, мне теперь с удовольствием вспоминается тогдашний небогатый вид нашего института. Из всех зал только одна большая приемная была отделана под мрамор с великолепным плафоном, и только она и другая приемная, маленькая, имела паркетные полы. Во всем остальном, громадном здании, полы были или каменные, или крашенные. Зеленые скамейки в классах, подновляемые по временам, были, право, удобны. (При мне, однако, уже их заменили дубовыми, дорогими.) Как залы, так и классы освещались лампами незатейливого фасона; в дортуарах висели с потолка ночники, в виде лодочек. В дортуарах же стояли простые умывальные столы, медные, но удобные; дортуарные служанки приносили воду в жестяных ведрах. Конечно, это патриархально в сравнении с залами, где бронзовые бассейны в миг наполняются водою, но за то не стоило десятков тысяч. Также не было у нас подъемных столов, волшебством подающих блюда из кухни; блюда попросту подавались в кухонное окошко поваром на руки служанок, разносивших кушанье по рефектуару. Конечно, тут не было волшебства, но зато руки опять не стоили десятка тысяч, если не более. За исключением отвратительных каморок, где помещались некоторые наши служанки, в остальном мало что требовало радикальных перемен. Мне кажется, для казенного заведения прежней скромной обстановки было очень достаточно.

У нас могла бы быть другая роскошь, недорогая, но необходимая: библиотека, о которой не было у нас и намека, и хотя бы небольшая коллекция гравюр по стенам. В дортуаре могли бы быть допущены зеркала; мы причесывались перед осколками, привезенными из дома. Наконец – но, быть может, такая мысль преступна – если бы решились отступить хотя немножко от идеала казенной форменности, институт, быть может, оправдал бы для нас название «родного приюта». Не будь этого моря желтой штукатурки, – если бы были стены зеленые, голубые, хоть полосатые, какие угодно, нам было бы как-то теплее, уютнее, глазам нашим было бы веселее. Это, быть может, глупо, но дети – птицы; птицам недаром втыкают в клетку зеленые ветки или красный лоскут... Если бы допустили в дортуарах неслыханную роскошь: свой домашний образок над изголовьем или портрет матери; свои пяльцы

где-нибудь в углу, цветочные горшки по окнам, хотя бы мы там вздумали сажать тыкву. Нет сомнения, такие крошечные уступки личным вкусам, проявлениям личной свободы, привязали бы нас к институтам несравненно больше чем роскошь мраморных лестниц. Полагаю, что роскошь в заведениях имеет отчасти целью привязать нас к ним; ведь там все делается для нас...

Но если чем был точно плох институт, так это пищей. Бабочки наши улетели недаром. Будь мы все бабочки, мы бы также разлетелись. Не то чтобы порции были малы, не то чтобы стол был слишком прост, – у нас готовили скверно. Часто и сама провизия никуда не годилась. Бывали, конечно, исключения, но редко. Я даже радовалась посту, потому что на столе не являлось мясо. Исключая невыразимых груздей, остальное в постные дни было кое-как съедомо. Можно было по крайней мере вдоволь начиниться опятками и клюквенным киселем, или киселем черничным. От последнего весь институт ходил сутки с черными ртами, но это не важность. Зато скоромный стол! Мясо синеватое, жесткое, скорее рваное, чем резаное, печенка под рубленным легким, такого вида на блюде, что и помыслить невозможно; какой-то крупеник, твердо сваленный, часто с горьким маслом; летом творог, редко не горький; каша с рубленным яйцом, холодная, без признаков масла, какую дают индейкам... Стол наш был чрезвычайно разнообразен. Мы не понимали, зачем это разнообразие. Школьный желудок неприхотлив, предпочитает пищу несложную, простую, лишь было бы вдоволь и вкусно. Этого-то и не было. Часто мы вставали из-за стола, съевши только кусок хлеба; оловянные, тусклые и уже слишком некрасивые блюда – относились нетронутыми.

Впрочем, иные воспитанницы ели даже власть и просили прибавки. Они, казалось, никогда не ели подобных прелестей. Мы удивлялись им, а потом, с горя, приступали к тому же... Иногда голод наталкивал нас на поступки не совсем дворянские. Мы крали. За нашим столом (первого отделения старшего класса), на конце, ставили пробную порцию кушанья, на случай приезда членов. Девушки вольнодумно начали находить, что образчики лучше. И если член не приезжал, образчик съедался, подмененный на собственную порцию... Вообще мы были весьма кротки, не приносили жалоб, и даже любили своего эконома. Этот эконом был веселый старик и, что называется, балагур. Приходя в столовую, он садился с нами, называл всех столбовыми барышнями, помещицами и сам расхваливал свои блюда. Мы у него просили пирожков и картофеля. Пирожки являлись, но скверные (кроме слоеных по воскресеньям), и картофель. Картофель мы ели, остальным нагружали наши громадные, классным дамам неведомые карманы. Туда же присоединялся черный хлеб, намазанный маслом. Это масло мы сбивали на тарелках из распущенного, подбавив квасу. Черные тартинки тайком подсушивались в дортуарной печке (что иногда сопровождалось угарным чадом), и полдник или таинственный ужин выходил чудесный.

Полдника мы буквально алкали. С утренней булки и чая, т. е. с восьми часов, иногда не пообедав, или проглотив что-нибудь противное, что еще хуже, мы не знали, как дожить до пяти часов вечера. Тут, едва выходил учитель, мы стаей налетали на классную служанку. Она вносила булки. Эти булки (половина хлеба в 5 коп. серебром) съедались мгновенно. Горе той, которая имела неосторожность спросить всю свою булку в утренний завтрак! Она не находила сострадания. Известно, что такое эгоизм голодного: возьмите историю кораблекрушений и других тому подобных несчастий.

Таковы были печали (печали желудка, конечно, но все же уважительные), которые встретили нас при начале нашего поприща...

Маленький класс наполнился; им перешли заведовать те классные дамы, воспитанницы которых только что были выпущены. Учителя проэкзаменовали по отделениям, сочли баллы, и сделали пересадку. Мы разместились. Кузину Вареньку посадили третьей: выше ее были две девушки, оставшиеся в маленьких от прежнего четвертого отделения. Варенька была в восторге. Она потащила на свою высокую скамейку свои книжки, беленькие тет-

радки, образец чтобы поставить его в углу пюпитра и целовать перед уроком. Я пошла водворять ее. Но увидав пюпитр, мы обе вскрикнули. Класс сбежался. На закраине пюпитра была огромная дыра; в нее входил целый кулак...

Поверит ли кто-нибудь, чтоб эта дыра была проедена не мышами? Ее проела девица, ковыряя дерево концом булавки. Щепочки легко отделяются, их глотать удобно. Эта девица объела точно также стол в лазарете, – в лазарете, куда утром и вечером ездил доктор, где средним числом бывает не более шести-семи больных, в надзор над ними, казалось, был незатруднителен... Обглоданный край стола мы видели собственными глазами...

Еда дряни царствовала при мне во всей силе. Надо отдать справедливость нашим классным дамам: они преследовали ее жестоко. Но, вероятно, против такого зла мало было одних наказаний... Странно, что никто из нас до института не пробовал ничего подобного. Эта еда – изобретение чисто институтское. Всего страннее, что вкус к дряни не прививается от одного подражания: можно один раз проглотить клочок кожного переплета, а на другой выплюнуть; нет, эта еда – неудержимая зараза, страсть, против которой бессильны даже угрозы розог... Печатная бумага, глина, мел (его тоже толкли и нюхали как табак), уголь, и в особенности грифель – все у нас поглощалось. От грифелей, длиною в четверть, к концу месяца после выдачи, часто не оставалось ничего. Лакомки брали у неевших, и отламывали углы своих грифельных досок. Ели просто для еды, потому что находили вкусными; очень немногие с целью приобрести интересную бледность. Кокетство пришло к нам позднее, едва ли не перед выпуском, а есть мы принялись с первого дня. Страшно вспомнить, какие были между нами зеленые лица. Страшно вспомнить, как умерла одна – ее задушил грифель... Да и вообще цветущее здоровье было у нас редкостью. Невнимание ли классных дам, дурные ли корсеты, только у нас вышло множество кривобоких. Иные, розовые и толстенные девочки, принимались расти болезненно и вяло, у многих к выпуску от когда-то пышных волос едва оставались жиденькие пряди. Мы дурнели и худели. Причин и без дряни было много. Иных буквально сжимал и заедал страх, на других нападало отчаяние. Одна девушка, особенно мрачного характера, пила у нас уксус. Она тихонько покупала бутылки самого крепкого и пила стаканами. Ей хотелось умереть, потому что в институте было ей тошно, да и на свете, должно быть, везде было ей тошно... Помню, ее пример увлекал. Она еще выдумала, что если есть много апельсиновых и лимонных зерен, то скоро умрешь. Апельсинов родные привозили мало, но попробовать хотелось. Даже и веселые девочки пробовали... Для юности в ранней смерти есть что-то заманчивое. Умереть в шестнадцать лет, – это так интересно! Институтская церковь полна; подруги, рыдая, поют панихиду; злая классная дама стоит и кается, а сама лежишь в гробу, в цветах, красавицей... Лежишь и глазком выглядываешь, что такое кругом... А там уже опять как-нибудь жива, но дома, или где-то на земле...

Мы мечтали, а лакомая дрянь помогала не на шутку. И ели ее вовсе не дуры-девочки, ели и умные. Месяц спустя после приезда Варя, даже моя Варя, лизнула запретных конфеток. Она сделала мешок из бумаги, набила его толченым мелом и стала купать в нем носик как в листьях розы. Слава Богу, впрочем, она скоро одумалась. Через неделю ей показалось это глупо. За ней бросили еще две-три. Их поймала пепиньерка, да еще пригрозила нам одною неизбежною бедою...

Эта беда чужалась нам как-то грозно и неумолимо. Она должна была прийти к нам скоро, в образе нашей классной дамы, Анны Степановны. Анна Степановна была больна; она заболела еще до выпуска своего старшего отделения, после которого по очереди должна была достаться нам, четвертому отделению. Покуда ее заменяла у нас пепиньерка, дежуря поденно с другою нашею классною дамой, Вильгельминой Ивановной. Я была в дортуаре Вильгельмины Ивановны. Дортуар Анны Степановны ожидал своей начальницы. Дортуар – это половина отделения, и заведующая им классная дама имеет над ним непосредственную власть. Нравственность девиц, их занятия, их здоровье состоят на особой ответственно-

сти дамы дортуара. Можно сказать, что от этой ближайшей начальницы зависит вся судьба девочки.

Нам много шептали об Анне Степановне. Нельзя вообразить, какой сердечный трепет навели эти рассказы на тех особенно, кто должен был поступить в ее дортуар. Варенька попала туда. Она очень приуныла. Вообще, выражение ее лица неузнаваемо изменилось в короткое время... Наконец, в одно утро, нам объявили, что Анна Степановна вступает в должность. Она заняла свою комнату подле дортуара, до тех пор пустую, и запертая дверь ее внушала нам таинственный ужас...

После вечерней молитвы эта дверь отворилась. Там видна была синенькая мебель, стол да этажерки, ничего особенного, но у многих девиц побелели губы. Мы ждали, стоя в рядах. Из комнаты приносился острый запах какого-то лекарства. Что-то шевельнулось... и наконец тихо на пороге показалась фигура в темном капоте. Лицо ее мы не могли, не смели рассмотреть. Фигура подошла. В руках ее был список ее дортуара. Она вызывала поименно своих, взглядывала им в глаза, потом наклоном головы возвращала каждую девицу на ее место. Губы ее были сжаты, щеки желчного цвета, блестящие карие глаза смотрели исподлобья, хотя были посажены так, что могли смотреть прямо. Кончив, она отошла на два шага, с неудавшимся величием, и произнесла: «je verrai voire condhaite» (Я буду следить за вашим поведением (*фр.*)).

Общий книксен, и двери затворились.

Впечатление было произведено...

Не могу иначе назвать это время, как «похоронным». Выражение неверно, но оно явилось тогда в уме, и удержалось в нем на веки. Точно мы кого-то похоронили, или нас похоронили... В глубине прошедшего мелькают мрачные дни и наши убитые страхом лица. Страх напал на богатых и бедных, на робких и строптивых, он уравнил всех, и в общем бедствии мы стали подавать друг другу руку. Вот начало нашей дружбы: она расцвела среди гонений...

Детство все преувеличивает, но тут желание гнать нас было очевидно. Мы видели, что Анна Степановна торжествовала, когда весь класс сидел, не смея возвесть очи; она, конечно, должна была понимать, что делалось в это время с нашими сердцами и внутренностями...



Канцелярия. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.

Она, конечно, нас не била, и не бог весть как бранила. Но ее физиономия и тон имели способность уничтожающую. Довольно было этой физиономии, чтоб убить в зародыше самое малое покушение на шалость. Мы и не шалили. Не помню, чтобы в продолжение этих первых месяцев в институте кто-нибудь у нас точно провинился. Тем не менее Анна Степановна так и сыпала наказаниями.

Мы думали, нет злее женщины в мире. Позднее мы поняли ее иначе, но еще хуже. Приговоры наши были страшны...

Анна Степановна доводила нас в особенности «тишиной». Чуть шорох или смех в классе, и виновная уже у черной доски; слово в оправдание, и она без передника; шепот неудовольствия – и весь класс «debout» (стоя (фр.) или без обеда. Начинается грозный разбор; Анна Степановна не возвышает голоса; она больше глядит и ждет... о, лучше бы, кажется, умереть!..

Чтобы соблюсти ту тишину, которой хотелось Анне Степановне, надо было родиться истуканом. Особенно было тяжело, когда мы ложились спать: тут-то бы и хотелось поговорить друг с другом, на просторе. Рекреаций мы не любили; во время рекреаций надо непременно ходить, и все спешат выучить урок к послеобеденным или завтрашним «переменам»; да тут же и она, сама Анна Степановна; не побранишь ее, не облегчишь сердца. Но в дортуаре ужасно... Рядом она отворила свою дверь и ждет, чтобы в секунду водворилось гробовое безмолвие. Раз мы засмеялись, раздевая друг друга... Тогда, как стоял ряд, так его и повалили на колени, как карточных солдатиков. На коленях простояли до полуночи...

Страх наш начал принимать колорит фантастический. Кто, например, видел тень Анны Степановны, блуждавшую по дортуару среди ночного мрака; кто утверждал, что Анну Степановну посещают видения, три черные кошки. Варенька не верила, но трусила не хуже других; она просто терялась. Раз она уже совсем легла в постель, когда Анна Степановна

кликнула ее взять шпильки и булавки, чтобы раздать девицам. Варенька влетела к ней как была, даже без башмаков. Это не помешало, однако, Вареньке сделать книксен...

Другие отделения нам не завидовали, конечно. У них житье было гораздо лучше, и если подчас не доставало справедливости в толку, за то не было такого удушья. Их классные дамы ставили нас в пример своим, но не пускались в рабское подражание. Быть может, сердца их были даже тронуты зрелищем наших бедствий, но ни одна не решилась на дружеский совет Анне Степановне. Дружбы между нашими классными дамами не было; случалась скорее вражда. В свободные от дежурства дни они не собирались между собою потолковать о живом мире, который не совсем был заперт от их глаз. Дежурия через день, каждая дама половину года была почти свободна. У иных было даже большое знакомство, а молодые не лишались удовольствия поплясать где-нибудь на бале... Но ни внешний мир, ни институтские интересы, ничто не сближало наших дам; большая часть их предпочитала жить особняком, избегая интимности, держалась как-то странно настороже и будто сберегая друг против друга камень за пазухой...

Зачем? Ни зависть, ни самолюбие, ни честолюбие, ничто не могло служить тому побудительною причиной. Классной даме нечем было отличиться; классной даме не было повышений, ни каких-нибудь особенных льгот; наконец, сколько я помню, ни одна из них не заискивала и любви директрисы. Любовь эта могла быть только бесплодною, значит, не о чем было хлопотать; к тому же они хорошо знали директрису, равнодушную к ним до некоторого презрения...

Не думаю также, чтобы наши классные дамы скрытничали друг от друга из необходимости скрытничать. Поведение их было безукоризненно, и если кто из нас увлекался впоследствии, тот не мог сослаться на пример своих классных дам. Бывали, пожалуй, у них уклонения, но или пустые, или глупые... Чего-нибудь более серьезного институтские стены не видали в мое время... И наконец, наши классные дамы были большею частью или стары, или дурны.

Однако они все же не ладили. Нам, конечно, до этого не было никакого дела, лишь бы с нами обходились милостиво. Но так как все они, в большей или меньшей мере, держались системы безгласия, делали из мухи слова или пребывали в олимпийской недоступности, то немногие и были любимы, и то немногими...

Наша неприязнь, должно быть, мало их огорчала. Наши классные дамы были только институтские дамы, а не воспитательницы. Ни одна, сколько я помню их теперь, не поступила к нам по призванию. С небольшими исключениями все даже были очень плохо образованны; были даже крайне тупоумные дамы. Такие ломили, как говорится, зря, наказывали нынче за то, что спускали вчера, сбивали с толку, и получали название индюшек за выражение, которое принимали их лица в минуту гнева. Детство чутко; их мало боялись, и под надзором этих дам выросли более независимые характеры. В пятом отделении была классная дама кислейшей наружности и кислейшего характера. Пятнадцать лет она подвизалась на своем поприще. Быть может, когда-нибудь она была образованна, но с тех пор как выучилась, не сочла нужным идти вперед ни для себя, ни для своих учениц, которым помощь классных дам при повторении или приготовлении уроков была бы необходима. Может быть, прежде она усердно исполняла свою обязанность; умная и справедливая, может быть, сформировала несколько твердых и честных характеров, и наказания ее точно приносили пользу. И теперь еще можно было видеть, что она бывала когда-то справедлива. Но дама соскучилась. За стенами института у нее не было знакомой души. Она обленилась и устала. Она, видимо, только дотягивала до полного пансиона, чтоб уйти, может быть, в монастырь, и доживать на покое. Лицо ее наводило скуку. Она не придиралась к пустякам, но дежурила как-то нетерпеливо, чтобы поскорее отделаться от дневной работы. Ее уважали, но и только.

Ее сослуживицу по отделению тоже уважали. Она была еще молода и воспитанна, но какая-то сухость сердца или нежелание немножко сблизиться с нами, ставили между нею и ученицами постоянную преграду. Ее наставления не трогали. «Дортуар» был для нее что-то постороннее, содержимое в порядке и вежливо, уважаемое в массе, но не более. И то уже было хорошо.

В третьем отделении, у старших, дежурили две противоположности: шестидесятилетняя старуха и двадцатипятилетняя молодая девушка. Старуха давно получила полный пансион и неизвестно зачем заживала в институте чужое место. Она только брюзжала. Вставать в семь часов и быть на вытяжке до восьми вечера было ей не по силам. Когда она вела парами своих, быстрые шаги девиц подкашивали ее выплывавшую впереди фигуру. Над нею глупо школьничали, наливали воды в ридикюль и чуть не прикалывали бумажек. Старуха часто хворала. Другая, молодая, была очень хорошенькая девушка, очень бедная, и только начинала свою карьеру. Ей гораздо больше хотелось выйти замуж. Эти невинные и очень понятные хлопоты продолжались все шесть лет, покуда я была в институте. Мне грустно о ней вспомнить... Она правила дортуаром скрепя сердце, и была аккуратна, чтобы не потерять места. Собственные интересы заметно ее мучили. На дортуар свой она глядела немного желчно, – она видела в нем существа, которые скоро будут на свободе, и иногда немножко свысока, чтоб отвести душу хоть в проявлении власти...

Наша Вильгельмина Ивановна была добрая женщина, но немного ограниченная. Она часто ни с того ни с сего принималась злобствовать вроде Анны Степановны, что вовсе не шло к ее смиренной физиономии. Но это сходило с нее скоро. Она, кажется, сама недоумевала, зачем надо быть строгою, и не умела отвязаться от этой будто бы неизбежности. У нее и выражение, и манеры были какие-то свои домашние, а не казенные. Иногда она была вовсе мила, вовсе запросто, и какое-то материнское чувство проглядывало в ее глазах. Заболевшая девица была для Вильгельмины Ивановны не субъект, который надо отправить в лазарет, и только; Вильгельмина Ивановна страдала за нее и тормозилась, как бы скорее помочь. В дортуаре своем она имела фавориток. Мы прощали ей это пристрастие, потому что в нем было безотчетное искреннее чувство, без всякой тени какой-нибудь корыстной причины. Фавориток своих она даже баловала. Она зазывала их к себе в комнату, и там, за перегородкой, у постели, где потеплее и потеснее, стоял самовар и разные сласти. Она любила покормить как барыня-помещица. Тут девушки болтали всякий вздор; из памяти исчезали желтые стены, разница лет и положения. Они даже целовали Вильгельмину Ивановну. На ее глазах бывали слезы...

Но Вильгельмина Ивановна была единственная. К сожалению, впечатление ее ласки скоро проходило, – и не далее, как на другой же день, когда Вильгельмина Ивановна, вся пуцовая, принималась кричать на весь класс и решительно без цели...

А наша Анна Степановна? А другие, и еще другие?..

Да что же было с них и взыскивать? Разве добрая воля привела их под институтскую кровлю? Всех привела нужда. Конечно, очень многие свыклись потом с своею профессией, даже привязались к ней, но все равно исполняли ее дурно. Трудно было и выполнять ее иначе. Двадцать лет назад не очень многие понимали, что такое должно быть воспитание... В казенных заведениях отсталые понятия передавались из рода в род; вновь поступавшие классные дамы принимали эти понятия совсем готовыми и усваивали их легко, потому что они были удобны. Чинность, безгласие, наружная добропорядочность и повиновение во что бы то ни стало – вот качества, которых можно добиться от подчиненных только вооруженною силой. Быть вооруженным очень приятно, и к тому же, добиваясь таких результатов, власть остается спокойна и умом, и сердцем.

Не думаю, чтоб учредители института имели цель образовать в нас только эти качества. Отчасти, может быть, но не в такой уродливой мере. Классные дамы злоупотребляли,

директриса не доглядывала. Никто не чувствовал потребности изменений в этой мертвой среде, никто не искал лучшего.

Одна любовь творит чудеса, живет то, что ее окружает; она одна, лучше всякого мудреца, умеет найти, что нужно: то простое слово, тот склад отношений, которые воспитывают молодую душу в добре и свободе. Но требовать любви от классных дам было бы нелепо. Где эти обширные сердца с запасом любви на шестьдесят человек или, по меньшей мере, на тридцать (то есть на воспитанниц всего дортуара)? За неимением таких в природе институтское начальство, конечно, их не ищет.

Если это было невозможно, то было возможно другое: женщина, человечески образованная, понимающая, что придирчивость только роняет кредит власти, а преследование мелочей глупо, – понимающая, одним словом, что власть страшно обязывает, а не дается для самоупоения, – женщина пытливая, для которой любопытно видеть рост детского ума и приятно направлять его во имя здравого смысла.

Но где же двадцать лет тому назад были у нас такие женщины-воспитательницы по праву и по призванию? Много ли их и теперь?..

Черты женщин любящих и женщин умных попадались и между нашими классными дамами, но только черты микроскопические. У них недоставало главного: чувства долга, который сказал бы им, что пора оставить заведение, когда ослабели нравственные и физические силы, или когда каждый собственный шаг ясно говорит им, что они не способны занимать свое место.

Но до такого самопознания, до такого самоотвержения общество не доросло и теперь. Классные дамы наши были не виноваты.

Теперь, пожив на свете, мы, воспитанницы, прощаем им многое, почти все, объясняя их нравы духом времени. Но тогда мы решительно не простили... Злоба наша изливалась втихомолку, но тем не менее, очень красноречиво. Имена и фамилии классных дам перевертывались на все лады. Эпитеты сыпались, и *vilaine* было самое милостивое.

Узнала ли об этом впоследствии хоть одна классная дама, так, из откровенного разговора с бывшею воспитанницей? Не думаю. Мы выросли такую трусливою мелкотой, а там попали в общество, так мало радеющее о правде, что, конечно, ни одна из нас не отваживалась на слово правды, как бы оно ни было полезно, и даже в том случае, когда сказать это слово можно было с полной безопасностью.

Вспоминается мне наше первое говение вместе. Никогда, в последние годы курса, ни потом, дома, я не была под влиянием такого особенного чувства. Почти весь класс испытывал то же. Серьезный ли характер нашего законоучителя, непривычка ли ответственности за себя (потому что дома казалось еще, что за нас перед Богом отвечали родные), или мрак и грусть, напущенные Анной Степановной, были тому причиной, – не знаю; но только мы каялись, будто совершили десятки преступлений. Мы даже старались не говорить друг с другом, чтоб не нагрешить еще больше. Нам казалось, наконец, что мы виноваты перед целым миром. Мысленно мы просили прощения у родных; между собой сводили итоги, от похищенной булавки до обидного слова. Но одно затруднение для нашей совести было непреодолимо. Мы не знали, как нам быть с Анной Степановной. Совесть требовала найти в себе преступление и против Анны Степановны, а между тем искать его как-то не хотелось, и стыд нас брал, что оно не находилось, стыд за закоснелость души, потому что все же мы, верно, были виноваты перед Анной Степановной... Надо призваться ей, но в чем, – и неужели признаться?.. В таких мучениях приходил и день исповеди, и час исповеди.

Раздавался церковный колокол. Все мы инстинктивно, в раз, поднимались с места. Не помню, чтобы кто-нибудь пожелал отстать и явиться одною с своим «*pardonnez-moi*» перед Анной Степановной. Тесною толпой подходили мы к ее двери, имея самых недовольных

и притесненных внутри кружка, где не так видно. Объявить о нашем приходе избиралась девица, что ни есть невиннее и безответнее из всего дортуара.

Анна Степановна выходила. «Pardonnez-nous», раздавалось глухо в кружке. «Que Dieu vous pardonne, mesdemoiselles». И если ничего больше, какое счастье! Но в этой счастии мы не смели признаться и самим себе. Мы только робко обращали тыл и не озирались, чтобы как-нибудь не кликнули.

Коллективное раскаяние и прощение снимали тяжесть с души. Значит, так должно было быть, если так было.

Позднее, к пятнадцати годам, молитва наша стала мечтательнее, или восторженнее; раскаяние и прощение «врагу» не просилось наружу из сердца, а как-то застенчиво оставалось в глубине его; взамен слов явились слезы, но нервные, горячие, неопределенные. Мы пролили их много перед образом Спасителя, в церкви, покуда, бывало, стоишь и ждешь своей очереди; а там, у противоположного окна, за ширмами, где священник, идет тихая исповедь.

К шестнадцати годам, многое изменилось. «Pardon» у дверей стал почти простым обрядом, и мурашки уже не бегали по плечам от страха погони. Наконец, молитва приняла совсем институтскую складку. Перед исповедью мы стали записывать грехи на бумажке и твердить, как уроки. «Mesdames, дайте списать грешков, я свои забыла», слышалось со всех сторон, в то время как благовестил колокол.

Это было искренно и, быть может, даже очень трогательно; но, мне кажется, в детстве было лучше. В детстве, кроме времени говения, бывали иногда просто случаи, которые вызывали такую потребность раскаяния, на какую уже неспособен немного взрослый человек. Вот один случай: свое покаяние рассказывала нам потом наша первая ученица, оставшаяся от предыдущего класса.

Раз, в институте, произошло следующее. Был большой праздник, Рождество Христово, и, по правилу заведения, институтки проводили его в дортуарах. Три дня в дортуаре и полнейшая свобода – какое счастье может с этим сравниться? Было шумно, лакомств было вволю; к довершению прелести вечера и рассказы нашлись самые святочные. Только неделю перед тем умерла в институте одна старая дама, бывшая распорядительница в классе вышиванья. Она давно не служила, и жила у дочери, своей преемницы по классу. Покойницу отпевали в институтской церкви, и, говорят, мертвая была очень страшна. Так эту-то покойницу видели накануне Рождества. Она прошла по хорам церкви, оттуда по хорам приемной залы и там во что-то обернулась. Кто видел, еще не знали, но происшествие комментировалось под звуки приятного шелканья кедровых орешков во всех углах дортуара. Беседа лилась, когда совсем неожиданно ее прервали.

– *Par paires*, ко всенощной, – скомандовала, входя, классная дама.

А сказали, что будет заутреня, в шесть часов утра. Неохотно все встали и пошли молиться.

Молились что-то долго, будто гораздо дольше обыкновенного. Дьячок уныло тянул на клиросе, свечи что-то плохо горели; в лазарете били часы протяжно, долго... а всенощная была только в половине.

Вдруг раздался крик, страшный, неестественный, и кто-то в дальних рядах грянулся об пол. Секунда тишины, и закричали все. Все заволновалось, заметалось, ряды бросились на ряды, толкаясь, сшибая с ног, падая грудами, задыхаясь в ужасе... Бледные лица, растерянные башмаки, крики: «пожар, покойница, светопреставление!» Кто-то влетел на клирос, хочет в алтарь, дьячок хватает ее за косички; кто-то со стоном бьется под десятками тел; швейцары держат дверь у входа в залу, там приезжие. Побежали за директрисой, из лазарета тащат воду. Вышел священник с крестом: «Мир вам, мир вам». Понемногу все утихает, становятся в ряды, и тихо, еще дрожа, идут прикладываться к Евангелию.

Но что ж было такое, что видели? Да ничего: просто, одной ученице сделалось дурно... Панический страх.

Всенощная кончилась, и пошли ужинать. Тут уже все, опомнясь, понурили головы. Никто не тронул ни одного блюда. Молчание в столовой было торжественное, все чего-то ждали. Наконец в дверях засуетился эконо и полицеймейстер. Зашелестело платье, и директриса вошла.

На лавках встают; тишина мертвая.

– Кто осмелится сказать хоть слово своим родным о том, что произошло, тот будет высечен, говорит директриса громовым голосом, по-французски. – С завтрашнего дня все по классам, и берегитесь у меня, вы!

Еще грозный жест, и она удаляется.

Институтские стены тонки, и тайна вылетела. Родные смеялись, как обыкновенно смеются над стадом баранов. Но «беда», в глубине институтских сердец, была понята иначе, по крайней мере очень многими. Что там, «la verge»? Что даже в самое торчанье в пустых классах, за уроком, в святки? Дело не в том. Вина перед Богом, искушение, и грех-то, грех-то какой, еще в церкви!

Многие наложили на себя обеты, кто земные поклоны, кто воздержание от страстей (то есть брани на классную даму). Ученица, которая рассказывала нам это происшествие, каялась тоже. Она отверглась земных благ. Ей к святкам прислали крымских яблок. Она сложила их в передних, и, как преступница и недостойная, отнесла истопнику, даже избегая благодарного взора.

...Первый светлый праздник в институте я провела очень скучно. Родные мои были далеко, Варенькины – тоже. И другим, сколько я помню, было не веселее. Все мы смотрели какими-то одичалыми птицами, еще не спевшимися друг с другом, сидели по дортуарам и ничего не делали. В дортуаре Анны Степановны было несносно. Хотя по закону была позволена полная свобода, но там никто ею не пользовался. Дверь Анны Степановны стояла настежь, и она слышала все, до невинного желанья яйца вкрутую. Зная это, воспитанницы ее предпочитали сидеть тихонько, каждая на своем табурете у кровати, и рыться в каких-нибудь пустячках, то есть лентах, коробочках в перстеньках, привезенных из дому, и грустно ненужных теперь.

У вас, то есть у Вильгельмины Ивановны сравнительно было гораздо веселее. Она затворяла свои двери, и мы праздновали на покое. Всякий делал что хотел. Иные, находя что лучшее дело – сон, спали целый день без просыпу. Другие, усевшись по окнам, глазели на двор, пустой, облитый весенним солнцем, и слушали далекий праздничный трезвон; третьи, от нечего делать, только ели. Многие счастливицы ждали, что к вечеру приедут их родные. В ожидании шли кое-какие разговоры...

Только не о родных, не о недавней жизни дома. Странно, я не помню, чтобы мы спрашивали друг у друга о своих биографиях, о биографиях наших семейств, чтоб это особенно вас интересовало. Всю прежнюю жизнь мы больше оставляли про себя, и если память о ней вырывалась вслух, то только отрывками. Самое чувство прежних привязанностей как-то уходило в глубь души, смятое, в день ото дня у многих теряло свою живучесть. Оноглохло, какглохнетвьющеесярастение, которому не к чему лепиться... Притом молодость, а особенно детство любит жить не прошедшим, и не тем, чего уже нет на глазах, а настоящим, какое бы оно ни было... Мы и говорили о настоящем.

Помню, как один раз зашла к нам Варенька. Без книг, без дела, как-то разом лишившись всех прежних способностей веселить и веселиться, она бродила, не зная, куда девать руки. Мы предложили ей кулича и загадку, предмет нашего разговора.

– Варенька, что такое: S-deux, D-huit, B-trois? Mesdames, qu'est que c'est M. P. R?

– *Laissez-moi en repos*, – отвечала одна девица, уткнув нос в подушку, и почему-то обиженная. Последняя загадка относилась к первоначальным буквам ее имени и фамилии.

– Варенька, отгадывай же!

Варенька качала головой.

– *Mais ce sont les premières beautés de l'institut! Mesdames, quelle bonté, elle ne sait pas ce que c'est Sdeux!*



Дортуар. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.

– Что же тут разгадывать – метки белья! – возразила Варенька. – S – значит дортуар Анны Степановны, deux – номер белья *mademoiselle*. . . . я не знаю кого. . . .

– *Mesdames*, а кто разгадает, что такое *t. d. t.*? – спросила кто-то. – Пари, что никто!

Вареньке казалось это дико, а мы занимались загадками целый день. Я ломала голову над мудреным шифром, но к ночи разгадала.

– *Mesdames*, «*tablier de tique!*» закричала я на весь дортуар, так что на меня даже шикнули. . . .

Страшное слово: «Тиковый» передник было самое крайнее наказание в институте. Кто один раз его заслужил, на том лежала печать отвержения. Об этом переднике говорили только шепотом. Даже сама Анна Степановна редко грозила нам этою казнью. Говорили нам, что будто бы в одном из предыдущих выпусков надели тиковый передник на девушку, уже кончавшую курс. Она будто бы написала пасквиль, где была обругана классная дама и весь институт. Не знаю, была ли это правда, – дело было давно, и может быть, дошло до нас в неточном виде. Мысль о *t. d. t.* не дала мне заснуть ночи. . . .

Наши праздничные заседания прерывались прогулками. Так как в начале апреля в саду бывало еще сыро, то вас водили гулять по двору. Это делалось иногда и зимою, в теплые дни. Кругом двора был узкий деревянный тротуар, по которому можно было идти только парами. Мы этого гулянья терпеть не могли, по крайней мере большинство из нас. За чугун-

ною решеткой бывало много приманок. Разносчики и булочники собирались там, ожидая практики. Торговля происходила на ходу. Покуда мы бесконечным хвостом извивались вдоль решетки, пяточки и гривенники летели за нее, и проворные руки подхватывали оттуда серые свертки бумаги, иногда о чем-нибудь несъедобным... Но большинство институток предпочитало спокойный способ покупки чрез верных служительниц дортуара.

Костюм наш во время этих гуляний был утомительный. Кожаные ботинки невероятной толщины, величины и вида; темные салопчики солдатского сукна и фасона, как у богаделенок; коленкоровые шляпки в виде гриба, с огромным коленкоровым махром на маковке. Если бы не этот махор, мы были бы совсем галки. Потом нам сшили что-то поизящнее. И вообще, год от году, при мне все наши туалеты стали заметно улучшаться, и будничные, и праздничные, и бальные.... Ведь у нас тоже бывали балы.

Оркестр, всегда великолепный, и ни одного кавалера, разве-разве два-три кадета из неранжированной роты. Перед выпуском, впрочем, появилось несколько кадетов постарше, из семейства коротко знакомого директрисе. Мы обожали их всех, без исключения. Протанцевать с этою редкостью было счастьем великим. Нетанцующие посетители – три-четыре маменьки, изредка учитель с своими детьми, родственники директрисы, – вот и все. Бальные угощения открывались шоколадом. Два служителя несли его в ведрах, продетых на палки, и в боковой заде шоколад разливался по чашкам. Он был скверный; немногие пили с удовольствием. Пило особенно маленькое шестое отделение, скакавшее всегда свои кадрили в дальнем уголку зала. Вообще мы, маленькие предоставляли более обширное поприще старшему классу....

Помню, что на первом балу у Вареньки случилось огорчение. У нее не было крахмальной юбки. Казна не отпускала тогда ничего подобного для бального туалета ученицы. Надо было запастись дома или сшить свою. Варенька не сделала ни того, ни другого. Она вошла в залу в виде белой дудочки, перевязанной красною ленточкой. Вошла, и поскорее в уголок. Там было много таких дудочек. Из них одна, самая тоненькая и маленькая, лицом черномазая с торчком волос на маковке, невозмутимо ела свою долю *cochonneries*. Это была наша грузинская княжна.

– *Qu'est ce que c'est, eh, qu'est ce que c'est?* вдруг послышался голос инспектрисы, и рука ее затеребила княжну за пояс.

Кругом привстали.

– *Eh, les petites, estce que l'on vient ainsi?... Eh, la Gribkoff, mais allez donc mettre des jupes.... eh, des jupes, les petites. Allez donc!*

И она удалилась вперевалку. Девочки прыгнули с мест, и сунулись было в смежную залу, ища юбок.

– *Restez*, – воротила их сухо классная дама.

Варенька встала тоже, чтоб уйти совсем в дортуар, но ей не позволили....

В этом запросе несуществовавших юбок – вся наша инспектриса. Вообще, я не знаю, что она у нас делала. Хозяйственная часть не лежала на ее ответственности; верховная власть сосредоточивалась в директрисе; за ученьем смотрел инспектор классов; за моралью смотрели классные дамы. Сколько я помню, в мои шесть лет к инспектрисе мало за чем относились. Суд и расправа обходились без нее; директриса отлучалась редко, и в ее отсутствие ее легко могла бы заменять любая классная дама. Должность ли эта была бесполезна, или инспектриса наша сумела сделать ее бесполезною? Последнее было очевидно. Эта женщина была олицетворение бесполезности. Было ли это скромным желанием стоять в тени перед величием директрисы? Может быть; они ладили, хотя та видимо ее не уважала.... Инспектриса только одним занималась в совершенстве – шиканьем. Она шикала как никто: неистово, со свистом, шикала на нас как на цыплят, не видящих коршуна в поднебесье.... Мы узнавали ее за версту. Каждый день она приходила в класс, при учителе, но никогда не

предлагала вопросов. Посидит минутку, посмотрит, кто без передника и в косичках, и уйдет. В рефектуаре она бывало первая, и едва войдут пары, уже кричит: «chantez le Отче наш; les chanteuses, chantez». Тут же так, зря, она усугубляла наказания, уже положенные классными дамами: девиц без передников и в косичках выдвинет к столбам, и пойдет дальше. Особенно ее беспокоила лень. «Eh, vous, les paresseuses, ici...» И paresseuses выступали на середину рефектуара. Там часто воздвигался черный стол, – маленький столик, без салфетки и приборов; на нем черный хлеб и кувшин с водой. Девочки плакали, инспектриса тащила их, суежилась... Мы заметили, что она особенно любила оказывать эту пользу институту.

Кроме этой инспектрисы, была еще другая, «инспектриса пепиньерок». А число пепиньерок не превышало у нас двенадцати! Дама эта была добрая, но буквально ничего не делала. Пепиньерки тоже ничего не делали, потому что нельзя считать во что-нибудь дежурство от пяти до шести часов вечера, или изредка за больную классную даму, и чрезвычайно редкие классные занятия с девицами.

Инспектриса наблюдала за их поведением. Труд более чем легкий. Для того чтобы в наших крепко запертых стенах могло совершиться что-либо, – надо было, чтобы начальство само потворствовало, или было бы уже совсем слепо...

За пепиньерками могла бы наблюдать и директриса, или по очереди, недежурные дамы. Было бы все то же. Свободного времени у наших властей оставалось очень много, несколько не посвященного юношеству... Да и посвященное-то время!..

Грустная жизнь! Никто, никогда из этих старших не собрал нас вокруг себя, попросту, как делают добрые люди, сбросив чинность, искренно и сердечно... прочесть вместе хорошую книгу, поработать вместе с нами, в тесном кружке, посмеяться нашим шалостям, потолковать о Божием мире, об его радостях и горе, и о своем горе... мы за него сумели бы полюбить. Но мы не знали ничего подобного. Да и не те были люди!

После Пасхи, в которую мы немного отдохнули, Анна Степановна опять принялась за свое. Ее сердитое лицо сводило нас с ума; мы не знали, что делать...

В один прекрасный день, Варенька написала следующее: «Милые папа и мама, мне очень скучно, а наша классная дама – ведьма, какую вы не можете себе вообразить...»

Письмо было отправлено. Но чему оно могло помочь в настоящем? В настоящем, мы, наконец, решились покориться. Так в одно дежурство Анны Степановны нам точно удалось мастерски просидеть истуканами. Никто даже не чихнул в несвободное время. Лицо Анны Степановны немного расправилось. Мы дружно удвоили усилия.

Шорох шагов, шелест бумаги, скрип пюпитра, скрип пера, – все утишилось, замерло, обратилось в ничто...

Какая странность! с отчаяния, что ли, или мы прониклись пользой безгласия, но наши усилия стали нам нравиться. Мы стали даже придумывать, как бы перещеголять одна другую. Мы сумели прожить так две недели.

Анна Степановна торжествовала.

И в одно утро, к крайнему нашему изумлению, она объявила нам, что директриса, уведомленная о нашем хорошем поведении, приказала «наградить» нас.

Сюрприз не вызвал в нашей душе и тени благодарности. Мы только сбились в понятиях об Анне Степановне. Она сама сбила нас с толку еще более. Почти с того времени она видимо перестала требовать того, о чем до сих пор так усердно хлопотала. Мы стали двигаться, как прочие отделения, даже шумнее. Страх сошел с дортуара, то есть с массы; с тех пор он являлся только в частных бедствиях, но и здесь принял другой характер...

Сообщая о «награде», Анна Степановна сказала:

– Sachez, mesdemoiselles qui je puis faire, tout au monde...

Вот это-то самое «tout au monde», часто и не у места повторенное, и подорвало в последствии ее власть. Мы подросли, поняли, какой ум смеет, а какой не смеет приписывать себе всеисилие...

Награждены мы были «днем в дортуаре». Эта милость, гораздо вернее, была дана нам за прилежание. Целый месяц мы учились так хорошо, что половину класса записали на красную доску...

Когда я вспоминаю о нашем учении вообще, мне становится грустно. Какие мы бывали подчас ленивые и беспонятные! Как мало кого из нас точно интересовала наука! Редко кто учился не из страха нуля; прилежание просто являлось оттого, что нравился какой-нибудь учитель. Но главная причина наших неуспехов заключалась в распределении курса. Право поступать в институт без всякой подготовки было, конечно, большим добром, потому, что не стесняло приема; но многолюдство наших классных отделений, их трехлетняя неподвижность, были большим злом; от него страдали прилежные и хорошо подготовленные девочки, а ленивые и незнающие выигрывали чрезвычайно мало. Проходило довольно много времени, покуда учитель узнавал способности и степень познаний своих учениц, и тут поневоле овладевало им недоумение. Иногда в одном и том же классе, на расстоянии двух скамеек, сидели девочки, еще дома опередившие двухгодичный курс институтского учения, и девочки такие, которые очень трудно подвигались вперед. Что было делать учителю? Он и принимался подгонять последних; по милости их каждый предмет преподавания начинался с самого начала, даже и в четвертом отделении. Знающие девочки, между тем, были обречены твердить старое; натурально, на них нападала скука, и они ленились. Тяжкую работу задавали мы педагогам. Мы и обожали, и бранили, и одно не мешало другому. Общим расположением нашего четвертого отделения особенно пользовался французский учитель. Он был мастер своего дела. Должно быть, он знал какое-нибудь симпатическое средство против грамматических ошибок, которое искусно передавал нам, потому что мы учились у него успешно. К концу третьего года в маленьком классе мы писали прекрасные lettres de condoléance и d'invitation, а тетради диктовки стали безукоризненны. Обожабельницы, чтобы доказать свою любовь, обертывали эти тетрадки разноцветною и золотою бумагой; соревнование в красоте обертки было страшное. Учитель очень любил нас, своих «têtes de linotte», как он, по обыкновению, вежливо журил ленивиц, но иногда желал бы быть посереднее. Бывали такие случаи: например, как-то переводили мы басню le Loup et le jeune Mouton, с французского на русский, потом опять на французский, потом разобрали ее по членам, потом собирались еще что-то сделать. Вдруг на некоторых тетрадях появился уже не «mouton», а «bouton». Почему? никто не знал; но каково положение учителя! Такие печальные уклонения нашего разума бывали нередко. Учителя арифметики мы озлили совсем. В тот год, когда он добрался с нами до дробей, у него верно убавился год жизни. Он не мог постичь, как могли родиться такие нематематические головы как наши... В классе законоучителя мы тоже не отличались особенною логикой. Не потому, чтоб от нас не требовали рассуждения, напротив. Но Катехизис и Литургию мы обязаны были учить наизусть, а от этих стараний у нас исчезал самый смысл дела. Потом, священник толковал, но мы с большим трудом понимали его толкования, и когда он приказывал повторить, то большая часть из нас сбивалась и путалась. Не помню, чтоб из этого класса мы выносили то сердечное впечатление, которое он должен был давать нам... Мы ждали прихода священника со страхом, и звонок в конце его урока имел на нас освежающее действие.

Класс русского языка бывал довольно оригинален. Вероятно, убедясь по предшествовавшим ученицам, что синтаксис не скоро уляжется в наших головах, учитель преподавал его более в отрывочных сказаниях, без руководства книги; мы записывали летучие заметки, которые потом заучивали. Иногда он учил нас просто внаглядку. Так, большой палец его рука обозначал подлежащее, указательный сказуемое; он широко раздвигал их, и связь являлась

перед нами сама собой. Быстро пробежав таким образом синтаксис, мы бросились должно быть словесность. Должно быть, потому что нельзя дать определительного названия той тетрадке заметок, которая появилась у нас на второй год курса. Тут на двадцати страничках были изложены и правила стопосложения, и определение поэзии, и тропы, и фигуры, и размышления о простом и среднем слоге, и правила для составления писем, и построение умозаключений, дилеммы, теоремы, все вместе, все в каком-то странном виде. Господь один знает, что это было такое. Учитель был поклонник Державина и Хераскова, мы твердили их оды наизусть, перекладывали их в прозу, разбирали на всевозможные лады. Особенно приятно было находить в них признаки иронии и синекдохи, фигуры прохождения, видения и какого-то поправления. Но разум наш решительно отказался служить, когда дело дошло до умозаключений. Закон исключения третьего, скачки и кружения в ошибочных доказательствах, доставили нам множество хорошеньких нулей в списке баллов.

Историю и географию преподавал у нас один и тот же учитель в продолжение всех шести лет. Это был у нас самый любимый учитель; десятки девиц обожали его постоянно; его приход оживлял все лица, его пронизательная и вместе добродушная наружность вселяла и доверие, и какое-то смутное желание понравиться не одним прилежанием. Но он смотрел на нас как на детей, и гораздо более дорожил признаками нашего ума нежели расположением к его особе. Мне тяжело вспомнить об этом человеке. Он не знал, как ему быть с нашим невежеством, как к нему приступить. Ему хотелось придать жизнь своему обширному предмету, а между тем домашние познания половины класса были чрезвычайно скудны, учебники плохи; учителю приходилось многое добавлять, во многом восстанавливать смысл; все это не удерживалось у нас в памяти, или мало интересовало. Тогда, махнув рукой и уже в дурном расположении духа, он приказывал попросту заучить страницу в книге, чтобы там ни было. Помню, что в такие грустные дни он больше обращался к географии Испании или Америки.

«Госпожа (такая-то)!» – И, например, я бойко высыпаю имена испанских провинций: «Галиция, Астурия, Арагония (иногда Патагония)..» Переверну еще пяток имен, и долетаю до Мажорки и Минорки.

«Госпожа (такая-то), какие племена населяют Северную Америку?» А сам, бывало, нарочно смотрит в книжку, где изображены эти племена, которым трудно поверить. Девица между тем крестит кого-то в шапсугов и чеченцев, и наконец, добирается до «присказки». «Ну, что ж еще в Америке?» спрашивает учитель, открыв пошире свои маленькие быстрые глаза. – «Попугаи, кокосы, антилопы, и они любят получать от иностранцев бисер и занимаются мягкой рухлядью»... Тем временем другая стоит перед ландкартой и робко ищет палочкой чего-то, от одного конца Европы до другого. Со всех лавок раздается неудержимое «*ici, cherchez ici*»... Классная дама шикает... Ужасно!.. Однажды, шел урок об итальянских государствах. «Назовите города Северной Италии и чем они замечательны?» был вопрос. За ним четверть часа молчания. Девица стоит и думает. «Так что же-с?» Скрипки, отвечает она наконец, и высказавшись таким образом, замолкает.

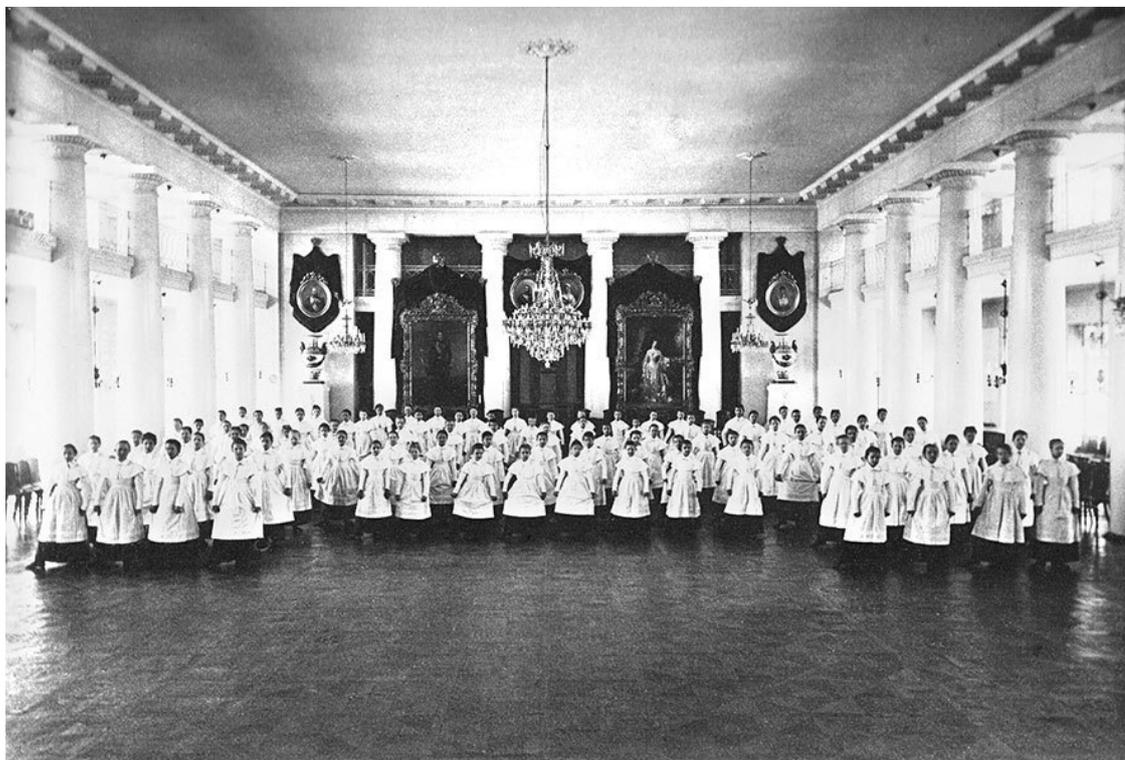
Но не всегда же мы были так ленивы и тупоумны. Иногда весь класс отличался блестящим образом, и лицо учителя сияло. Радость, впрочем, увлекала его слишком далеко. Вдруг, положившись на силы избранных учениц, он принимался диктовать чрезвычайно подробные прибавления к учебнику географии, и статистические таблицы, и обширную географию древнего мира. Весь класс записывал, но выучить всего этого не могли и первые ученицы за недосугом и занятиями по другим предметам, в которых они были слабее. Курс истории волновал учителя еще больше. Мы проходили всеобщую историю по учебнику Преображенского. Никогда не забуду кислой гримасы нашего учителя, когда мы сгребали в кучу имена греческих мудрецов или нанизывали названия варварских народов один за другим, точно будто они пришли все разом, и все разом съели Римскую империю. Мне, по крайней

мере, долго казалось, что дело было так. Учебник гласил немного иначе, но был изложен так плохо, так безжизненно, что судьбы человечества не приобрели в наших глазах никакого значения. Что римские войны, что Тридцатилетняя война, – все равно, и так же скучно. С хронологией мы погибали, да какой же интерес могли иметь для нас эти мертвые цифры? Прилежные девочки зубрили как могли; были даже такие прилежные, с такою огромною памятью, что зубрили по собственной охоте. Одна такая знала у нас от доски до доски «древнюю историю» Преображенского, и если уж где было написано «подстрекаемый» честолюбием, то она никак не позволяла себе сказать: «движимый». При таком рвении одних и очевидной способности некоторых других девиц учитель вдруг оживлялся. Он приносил свои исторические записки или, выбрав какую-нибудь эпоху, пускался красноречиво и подробно излагать ее. Класс принимал вид университетской аудитории. Но это бывало редко, потому что оказывалось бесполезным. Для последних в классе лекции были непонятны, для первых – слишком отрывочны, не в связи с их остальными историческими познаниями... Средину между учебником Преображенского и университетскими лекциями учитель наш искал постоянно и как-то не находил... При всем его желании, образованности и самой симпатичности его характера, он все-таки не достиг того, чтобы мы полюбили его предмет...

По-немецки наше отделение знало очень плохо, а искусства совсем хромали. Музыкаке учились только те, кто хотел, на собственный счет, а пение предстояло нам впереди, в большом классе. Рисовать учила у нас одна старая дама, у которой ослабело зрение. Мы никогда не рисовали с натуры, и только копировали с литографий, карандашом и красками. Лучшими нашими художницами мы считали тех, которые умели рисовать что ни на есть мельче, точечками и штришками. Нужды нет, что попорчен контур, – было бы затушевано мягче пуха. Помню, что я рисовала какую-то женщину в созерцательной позе; я изобразила ее с флюсом, и любовалась. Потом еще у меня вышла удачная картинка, тушью: семейство, катающееся в лодке. Ручки у всех вышли грабельками, а губки и ногти – черными точками. Другие девицы, не такие артистки, рисовали на тетрадах глаза и уши самых причудливых форм, и съев уголь, бегали из класса чинить огрызки. Чинил постоянно и перья, и карандаши наш дьячок. Он заседал в уединенном месте, неподалеку от класса, и сумрачно исполнял свое дело. Он чинил перья как никто, – великолепно. Мы относили ему целые связки. «Прошу вас, двадцать пять перьев, и вот пяточок серебра...» И затем, положив скромную дань на стол, непременно почему то покраснееешь...

В резвых танцах и изящных телодвижениях с венками и шалью мы сделали успехи позднее, уже в большом классе; в маленьком многие из вас были порядочные увальни. Класс танцевания в первое время имел весьма унылую физиономию. В огромной зале зажигались лампочки, приезжал учитель и с ним музыкант с самою плачевною скрипичей, какую я когда-либо слыхала. Нас строили в шеренгу, и в полумраке начинали производиться бесконечные *jetée assemblée*. Сначала мы страшно шуршали ногами. Но наконец, после долгих стараний, учитель добился от нас некоторой воздушности, и мы приступили к какому-то *pas de basque*. В этом па есть особенное движение ногой назад и нечто волнообразное. Которая из нас была пожирнее, та выплывала в этом па как утка. Учитель бил в ладони, скакал сам, выходил из себя. Тернистым путем добрались мы до кадрили. Одно время, для большей выправки и практики в изящных манерах, кто-то из ваших властей придумал следующее: После танцев маленький класс оставляли в зале. Нас ставили одну за другой вдоль балюстрады. На балюстраду мы клали книжку, по которой твердили урок, и в то же время, легонько придерживая платице, делали ногой *battement*. После четверти часа, по команде, мы поворачивались другим плечом, и делали *battement* другою ногой, – сто человек разом, в совершенном безмолвии. Кто бы посмотрел со стороны, тот подумал бы, что это дом сумасшедших...

Скучное бывало время – вакация в маленьком классе. Мы постоянно проводили ее в саду, откуда выгоняла нас только дурная погода и время еды. Большим отведены были аллеи, а маленькому классу три беседки при входе в сад. Это, вернее, были не беседки, но купы вековых лип, под которыми ставили столы в скамейки, Здесь мы сидели, постоянно на виду у наших дам, повторяя множество старых уроков, а часто и новое, заданное на вакацию. Кроме этого ученья, на вакацию приезжали еще заниматься с вами кандидатки из Воспитательного дома. Отучившись, мы были свободны кейфовать или бегать сколько нам было угодно. Но резвиться мы как-то отвыкли. Мы предпочитали бродить и болтать, так, что-нибудь, потихоньку. Под вечер, мы гурьбами расходились по дорожкам так называемого маленького сада, обсаженным кустами сиреней и жимолости и прилежавшим к аллеям где гулял большой класс. Этим садом заканчивались институтские владения; за его решеткой лежал огромный пруд, который тянулся вдоль всей нашей садовой границы. Мы очень любили ходить к этому пруду, не затем, чтобы мечтать или смотреть на закат солнца, – нисколько! Вообще, я заметила, мы были чрезвычайно равнодушны к красотам природы. Дорожка у пруда вам нравилась, потому что там была маленькая глушь, в акации щебетали миллионы воробьев, а поблизости, в перспективе аллей, можно было видеть, как гуляют наши objets.



Урок танцев у младших классов. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.

«Objet!» «Она!» – магическое слово, наполнявшее восторгом нашу душу... Выбрать себе из старшего класса «предмет для обожания», и любить, любить его – иногда Бог знает за что. Бегать за нею повсюду, всегда, хотя бы в незаконный час, хотя бы за это сто раз сняли передник; благословлять ее, и где-нибудь, прижавшись в коридоре, покуда она идет, осыпать ее самыми сладчайшими именами, какие только можно давать небожителям... А счастье на просторе закричать ей во все горло «céleste», «divine», поцеловать в плечико или хоть край ее пелеринки. Я обожала мой objet до сумасшествия. У меня были целые тетради, где разноцветными красками был нарисован ее вензель, и во всех возможных прилагательных воспевались ее совершенства. Я писала ее вензель на песке, вырезывала его на своем пюпитре, на колоннах в зале, на полу в дортуаре у своей постели, где молилась в другой раз

после общей молитвы. Она меня «счастливила». То есть она позволяла мне переписывать ей тетрадки набело, а один раз – о богиня! она приняла из моих рук шоколадную собачку, которой тут же удостоила откусить голову!..

Конечно, с виду это чрезвычайно глупо. Наши родные и светские судьи остроумно смеялись, и вообще, при удобном случае, еще смеются над институтским обожанием. Они не совсем правы. Нельзя так холодно нападать на чувство, хотя бы преувеличенное, но искреннее, на избыток ребяческой нежности. Ей нечем больше выказаться в наших стенах. Нам бы хотелось осыпать щедротами любимое существо, а между тем возможен только какой-нибудь кусок шоколада или пучок перьев, перевязанных розовой ленточкой. Обожание кончается институтом; оно может существовать только там. Напрасно говорят, что иные институтки переносят эту ложную чувствительность в свет, и именно потому бывают готовы влюбиться в первого встречного. На это равно способны и не институтки. А главное, между обожанием и влюбчивостью такая противоположность, что в последствии одно очень часто уничтожается другим. Мне удалось заметить это из жизни многих моих сверстниц. «Обожание» относится более к духовным совершенствам, воображаемым или существующим, чем к красоте; в нем есть даже что-то сердобольное и желание доставить предмету как можно более материальных благ. Дома оно переходит в попечительность и хлопоты об окружающем. Из наших присяжных обожательниц вышли особенно заботливые матери, и такие девушки, которых не очень легко было прельстить завитым хохлом и черными усиками...

Точно такая же любовь простиралась и на учителей, и наконец, мы обожали особ недосягаемых, то есть всех высоких покровителей института. Мы их видали редко, и уж, конечно, ничем не могли выразить своей любви, кроме листков с их вензелями, которые тщательно хранились в пюпитрах. Известие, что будет царская фамилия, встречалось общою радостью. Мы ждали посещения как праздника, но особенно было это весело уже в большом классе; в маленьком ожидания омрачались приготовительною выправкой и усиленным внушением морали. Помню, как в первый год, осенью, у нас готовились к подобному посещению. Большие разучивали какую-то итальянскую кантату, а танцевальная учительница придумала особенный польский с фигурами, в котором должны были участвовать и маленькие. В число избранных попала и я, и нас всех велено было завить в кудри. Анна Степановна, как мастерица, взялась завивать избранных из нашего отделения. Помню, что канун торжественного дня была суббота, и чуть у нас не случилось большой сумятицы. Меня кликнули к Анне Степановне. Я побежала, дрожа всем телом, потому что шутка ли просидеть с нею глаз на глаз целый час? Хотя с нее давно сошло желание делать нас немыми, но, все равно, я ее боялась. В то время вышла в классе неприятная история, и Анна Степановна была очень сердита. История поразила меня в самое сердце, потому что случилась с Варенькой. Анна Степановна безмолвно встретила мой трепетный книксен, притворила дверь и, усадив меня на скамеечку у своих ног, приступила к кудрям. Она напмадила мою голову и разделила ее на пятьдесят квадратиков. Она делала это деликатно, аккуратно, искусно и с желанием сделать хорошо. Я утупилась, вся пунцовая от одержанного дыхания, и только смотрела на тень свою. Каждая минута, покуда на моем затылке прибавлялся новый рожок, казалась мне вечностью. Вдруг Анна Степановна взяла меня за подбородок, повернула к себе и сказала: «Tenez, je fais bien les bouclée; dites moi merci».

Она ласково улыбалась. Я вскочила, потому что дело было кончено, официально приложила к плечу, и была уже за дверью. В коридоре шла уже суматоха. Директрисе доложили, что высокие посетители будут сейчас, ко всенощной. Неожиданность подняла тревогу по всему институту. «А папильотки!» – вскричала Анна Степановна. Бумажки полетели с моей головы, но уже было поздно: по двору прогремели кареты. Анна Степановна заключила меня в своей комнате, где я плакала и ничего не видала. Наши между тем опрометью бежали в церковь, завитые рвали папильотки; те, которые были уже в церкви, наскоро поправляли

волосы, неуспевших прятали в ряды, классные дамы бросались к полу, сгребали бумажки в карманы, волновались ужасно; их волнение сбило с толку диакона, говорившего ектению... Кое-как наконец все пришло в надлежащий порядок...

На другой день царская фамилия была опять, и было торжество. Кузина Варенька не участвовала в танцах. Она стояла в своем ряду, очень грустная; ее не мог развеселить и праздник. Она знала, что завтра, когда он кончится и занятия войдут в свою будничную колею, ей опять будет плохо.

На Вареньку было воздвигнуто гонение. Анна Степановна знала, за что гонит, и Варенька хорошо знала, за что ее гонят; но дело началось безмолвно, и обе партии не объяснились никогда. Через полгода после того, как Варенька сообщила родным об Анне Степановне, что она «ведьма», Анна Степановна это узнала. Это случилось таким образом. Родные Вареньки рассказали о письме одному родственнику, москвичу; он в свою очередь рассказал своему родственнику, тоже москвичу. Этот последний родственник был лицо богатое, когда-то сановитое, но теперь уже на покое. Этого старого вельможу почитала вся Москва. Старик позволял себе говорить в глаза всякому, что заблагорассудится. Не знаю, каким образом, но от сановника зависела и семья Анны Степановны, и ее положение в институте. Один раз Анна Степановна была у него. Старик без дальних околичностей сказал ей о ведьме. «Вот, матушка, – прибавил он, – как Грибкова тебя называет; держись получше, не то может быть худо». Потом, при случае, сановник передал родственнику, как он пугнул Анну Степановну. Родственник, навещая Вареньку, передал ей все. Таким образом, дело, описав огромный круг, пришло к своему началу. Родственник, незнакомый с нравами казенных заведений, наивно радовался «острастке». Варенька была в ужасе. Что делать теперь с Анной Степановной? Объясниться – нет! на это никогда не достанет духу! Товарищи потерялись тоже...

Только теперь, пожив на свете, можно беспристрастно судить о прошлом. Что должна была чувствовать Анна Степановна, выслушав хоть и заслуженный, но грубый выговор от постороннего человека, и могла ли она простить той, которая вызвала его? И пословица гласит, что «виновный не прощает». Наша Анна Степановна стала поступать только как существо неисключительное. Думаю даже, что если бы Варенька просто в пылу увлечения выговорила ей эту «ведьму» вслух, было бы лучше. Поднялся бы спор, шум, история, мы все бы увлеклись и высказали бы, что было на душе у каждой. Первую минуту мы потерпели бы страшно, но наконец Анна Степановна почувствовала бы, что правда на нашей стороне. В детстве столько добрых инстинктов, – только сознайся она немножко, мы бы ей простили, посовестились бы даже своего торжества и, каясь в нем, немножко полюбили бы Анну Степановну, потому что она от нас потерпела. Но мы не умели даже шуметь. Нечего и говорить после того, как мы были неспособны на мужественное и спокойное слово...

На Вареньку обрушилась не гроза, но туча мучительных придинок. Это называется по-институтски *s'asstocher*. Анна Степановна мстила. То, чему когда-то подвергался весь класс, взыскивалось теперь с одной Вареньки. Лишний шорох, булавка не на месте, книга, спрятанная не вовремя, стоили ей передника. Оказии для этого могли быть очень частые. В антрактах Анна Степановна преследовала ее убийственными взглядами. Мы смотрели, втихомолку выходили из себя, но не заступались за Вареньку ни одним словом. Правда, мы делали гримасы Анне Степановне, даже грубили ей страшно, но только совсем не из-за дела. Из числа таких задорных была и я. Однажды учитель поставил мне нуль, и Анна Степановна приступила к моим «косичкам». Я наговорила ей ужасов.

– *Demandez pardon!* (Извинитесь! (фр.)), – вскричала она в гневе.

Ни за какие блага!.. Она билась надо мною два дня, подняла и Вильгельмину Ивановну, и та уже кое-как со мною сладила. Это я будто бы мстила за Вареньку.

Придирки длились очень долго, целые месяцы. Варенька бледнела и худела. «Как же я буду жить так несколько лет?» – повторяла она, заливаясь слезами.

Но вдруг все кончилось самым неожиданным образом, без всякой видимой причины. В одно утро в класс вошла директриса. Она просидела долго, урок французского языка шел превосходно, директриса была особенно приветлива и весела. «Eh bien, êtes-vous contente des vôtres?» (Ну, вы довольны своими? (фр.)) – обратилась она к Анне Степановне, а между тем улыбнулась первой скамейке самую милую улыбкой.

– Parfaitement, – отвечала Анна Степановна, – j'ai des élèves si distinguées dans mon dortoir, mademoiselle Gribcoff par exemple (Прекрасно, у меня есть воспитанницы, и очень способные в моем дортуаре, например м-ль Грибкофф (фр.)).

К вечеру Варенька заболела. Анна Степановна ухаживала за ней, освободила от класса чистописания и в пять часов повела к себе в комнату пить чай.

– Куда ты? В пасть ко льву! – шептали мы, а сами крестились, что прошла беда.

Почувствовала ли Анна Степановна свою несправедливость, утомило ли ее тщетное преследование, – но только она стала совсем другая с Варенькой. Она отличала ее перед всеми при каждом удобном случае, делала ей маленькие подарки, покупала помаду, перчатки и пр., когда родные Вареньки опаздывали высылкою денег. Эти отношения установились прочно и не прерывались до самого выпуска. Варенька страдала ужасно, но не имела силы ни противиться ласкам, ни объясниться. Она была недовольна собою в высшей степени, но и только. Недовольство изменило ее характер в какой-то унылый и преждевременно старый. Мы допрашивали, что с нею.

– Меня убьет это лицемерное великодушие, – отвечала Варенька, опуская голову...

Тогда мы разделяли ее мнение о гнусности Анны Степановны. Теперь мне хочется думать иначе. Вряд ли это было лицемерие. Тогда бы заискивание началось с первого дня, с той минуты, как сановитый родственник Вареньки, он же благодетель Анны Степановны, прочел свою нотацию. Мне кажется, она просто одумалась, и к ней пришло настойчивое желание внушить Вареньке доброе мнение о себе. Пусть даже оно и было притворно, – но Анна Степановна выдержала характер целых шесть лет! Уже за один такой труд нельзя до конца осуждать человека...

Другая история, подобная этой, случилась в нашем отделении незадолго до перехода в большой класс. Анна Степановна стала придирается к одной ученице из дортуара Вильгельмины Ивановны. Та написала родным, но письмо не дошло. Вильгельмина Ивановна, озлобленная, что смеют гнать ее любимицу, одну из лучших в классе, и питая постоянную вражду к Анне Степановне, не послала письма, а показала его директрисе. Мы провели дело, и в ужасе ожидали, что будет. Анна Степановна дежурила, когда директриса вошла в класс. Ученица сидела ни жива, ни мертва. Она была у нас самый веселый товарищ, мы ее чрезвычайно любили. Урок кончился, учитель вышел, нам приказали остаться на месте. Анна Степановна была сконфужена, директриса смотрела недовольно.

– Правда ли, – обратилась она ко всему классу, – что Анна Степановна несправедлива и дурно обращается с Mlle Петровой?

Общее безмолвие.

– Отвечайте же, mesdemoiselles.

Мы молчим.

– Mlle Petroff, говорите за себя, сказала наконец директриса, подзвав ее к себе. – Вы жаловались вашим родным? бранила нас Анна Степановна? называла вас morveuse? Отвечайте.

– Oui, maman.

Она была бледна как полотно, от стыда, мы не смели взглянуть ей в глаза.

Директриса молчала, глядя на подсудимых. Анна Степановна с минуту казалась уничтоженно.

– C’était un mésentendu... j’espère que nous serons bons amis, j’estime tant mademoiselle... – проговорила она в волнении, и вдруг, с быстрым порывом бросилась к девушке и приложила к ее плечу...

Директриса молча встала со своего места и вышла.

Мы торжествовали. Унижение врага, и еще его самоунижение, окончательно погубило его в наших глазах. Мы потеряли последнее доверие даже к его смыслу. О собственном поступке мы уже не думали... О, как нам было весело, и как мы смеялись!..

Суд директрисы показался мне тогда великолепным... Но этот случай был почти единственный: распри наши с классными дамами доходили до нее чрезвычайно редко. Жалеть ли теперь об этом или нет, не знаю. Если бы наша высшая власть постоянно действовала таким образом, я не думаю, чтобы мы получили правильное понятие о том, каким образом должны решаться дела справедливо для обеих враждующих сторон... Что же касается до того, как директриса обходилась лично с нами, институтками, то наш выпуск сохранил о ней прекрасное воспоминание; всегда приветливая, и с таким вниманием к нашим успехам, что хотелось учиться хорошо, лишь бы только получить ее одобрительный взгляд и улыбку. С течением времени у многих из нас приязнь к «тапан» доходила до робкого обожания... Это официальное название не было тягостно ни для кого... В последний год маленького класса, она стала приглашать к себе «отличных» учениц. Там, в ее комнатах, они могли в свободные часы играть на фортепьяно, сидеть на просторе с ее внучками, тоже нашими приятельницами, видеть гостей тапан, видеть ее. Сама она, иногда, вступала с девицами в разговор. Это была женщина глубоко религиозная и, кажется, очень образованная, – кажется, потому что ни тогда, ни после выпуска мы не имели случая узнать ее вполне. В ее суждениях, высказанных привлекательно, слышалось что-то дельное, что вызывало любопытство молодого ума и могло бы хорошо удовлетворить его. Но разговоры бывали чрезвычайно редки и до того отрывочны, что из них нет возможности припомнить на одного! Осталось только смутное понятие о директрисе как о женщине, которая на своем месте, при своих средствах могла бы принести огромную пользу. Но, к несчастью, у ней были семейные обстоятельства такого рода, что невольно поглощали ее внимание. Они отнимали у нее здоровье, портили характер, убивали деятельность. Если бы не эти заботы, до того близкие сердцу, что невозможно не оправдать их, эта бескорыстная и проникательная женщина, наверное, отдала бы нам все свое время, не производила бы опрометчивых судов и доглядела бы беспорядки, которые творились вокруг нее. В свете нам приводилось слышать, как ее осуждали. В ней смешивали женщину – главу семейства с женщиной-начальницей; между тем и другим была большая разница. Институтки, моего выпуска, по крайней мере, не могут слышать этих обвинений без досады и огорчения.

Мы все и уважали, и любили ее. Положим, у половины из нас чувство это было безотчетное; но, верно, сердце знало, что есть за что любить, если любили все.

Она умерла давно, но институтки благоговейно чтут ее память. Память держится, несмотря на множество лет, отделяющих от прошлого, несмотря на новую жизнь, в которой погасли последние его искры...

Годы бегут быстро, и вот мы уже сами в большом классе...

Путь пройден до половины. Остальная половина уйдет еще скорее, и нам заранее грустно.

Мы уже любим институт. Кто не бывал в казенном заведении, тот никак не поймет этой странной привязанности к какому-то общему, отвлеченному представлению места, где живешь, между тем как в частностях многое в этом месте по-прежнему не мило. Конечно, мы втянулись в институтскую жизнь, и привычка осватила то, что сначала казалось диким; потом, с течением лет, немного изменились наши отношения к классным дамам; наконец, нам минуло четырнадцать лет, наступил возраст, в котором столько беспричинного весе-

ля, что против него нет возможности устоять даже самому угрюмому блюстителю порядка. Но не в этих причинах был источник нашей любви к институту. Его надо искать в нашей дружбе...

Какими словами помянуть эту дружбу?.. Но для нее нет слов. Пусть та из вас, у которой сохранились хотя клочки записок, которые мы тогда писали друг к другу, взглянет на них теперь...

Над этим невозвратимым чувством можно заплакать. Никогда ничего подобного не давала вам светская жизнь, и не могла дать. Самое нежное внимание, святость клятв, жертва имуществом в пользу друга, слезы ревности, когда чужая завладеет сердцем друга, бесконечные ласки, маленькие тайны...

Откуда бралось это, на чем держалось? Клятва – это какое-нибудь обещание подсказать урок; жертва, это домашнее лакомство, уступленное голодному другу; внимание, это бирюзовое колечко, подаренное другу, в день именин; тайна – это имя «objet», или вместе задуманная шалость... Серьезный человек захохочет. Но напрасно. Наша дружба тем и была хороша, что умела держаться на немногом...

В большом классе она обрисовалась вполне. Все, что когда-то было в нас враждебного институтскому складу и занесенного из дому, все давно исчезло. Выше институтских интересов мы уже не видали ничего; никто вам и не указывал, что впереди будут другие интересы. Вот почему и все наши радости сосредоточились в тесном мирке дружбы. Здесь, к чести классных дам, надо сказать, что они держались мудрого начала невмешательства: мы пользовались между собой полной свободой и выбора, и действий.

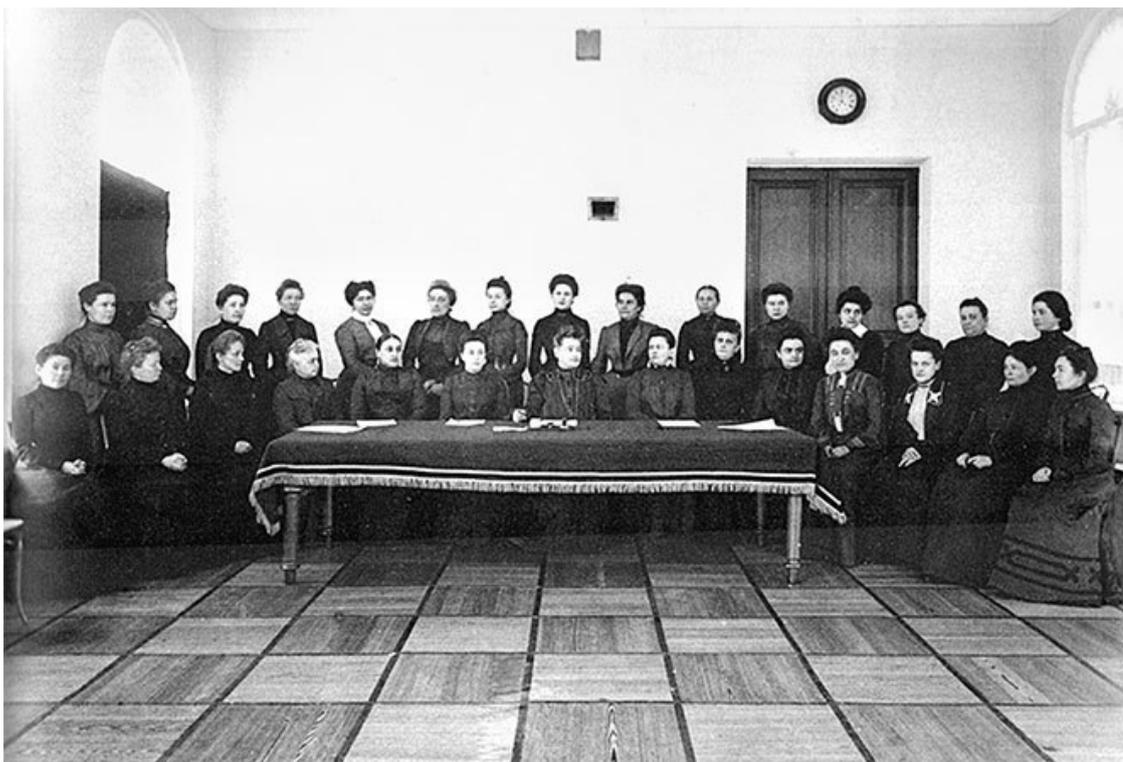
Кружки друзей образовывались смотря по характерам. Тот, в котором считалась я, был самый веселый. Мы были то, что называется из отъявленных, то есть насколько это возможно при почетном названии девицы первого отделения. Это отделение должно было служить светилом для всех прочих. Здесь «будущие бессмертные» в институтских летописях, будущие шифры и прочие награды...

Не без некоторого чувства гордости перешагнули мы через порог святилища. Нам приятно было взглянуть друг на друга. Мы очень подросли и были такие выправленные. Исключая немногих, все в вашем отделении выработали себе, в манере держаться, ту институтскую складку, которая уже считалась нами высшею степенью женского существа. Маленькие, наполнившие оставленный нами класс, и посетители института, если хотя немного отступали от нашего идеала или не походили на институток, уже казались нам смешными и странными. У нас был тихий и осторожный голос, воздушная и вместе торопливая походка движения и спокойные, и робкие. Яркая краска беспрестанно разливалась на наших щеках, а, приседая, мы наклоняли голову о неподражаемую скромность. Сколько я помню, в этих приемах была точно своего рода прелесть, какая-то монастырская. Но натура часто брала свое, и на просторе, когда мы были не на глазах у старших, на нас нападала отвага, мы вдруг становились не те. Вместо грациозно запуганных созданий мы просто делались неудержимыми ребятами. Избыток жизни так и просился излиться в шуме, крике, хохоте на весь институт, в проказах над чем ни попало... о, если бы только дали волю!

Наше первое отделение насчитывало много хорошеньких девушек. Мы были в восторге, что институт прославится их красотой, и с неописанным счастьем восхваляли своих «célestes beautés» в глаза, даже не стесняясь повелением молчать, хоть, например, во время класса. Мы шептали им это с отдаленных лавок или передавали клочки бумажек с троекратным «incomparable», троекратно подчеркнутым, чтобы «beauté» прочла и зарделась как роза. Мы не питали ни малейшей зависти и красот наших подруг, вернейший признак дружбы между женщинами. А что касается до зависти к успехам в классе, о ней не было и помина.

Первое отделение смотрело очень нарядно сравнении с прочими. По стенам висели хорошие ландкарты, стоял шкаф с «физикой», как говорили у нас, и ящик с «ботаникой».

Другие отделения ничем не отличались от маленького класса. Жизнь этих отделений шла совсем иначе чем у вас; мы мало сближались с ними, и даже почти не знали, что делается у соседок. Мы едва были знакомы с ними, исключая пяти, шести девушек, которые особенно прижились нам по сердцу, да певиц. Класс итальянского пения соединил нас в залах у тапан, и потом обедня, когда мы вместе стояли на клиросе. Второе отделение смотрело как-то особенно тихо и бесцветно. За то в третьем, когда случалось пройти мимо его двери, слышался постоянный шум, шиканье инспектрисы и голос учителя в раздраженном состоянии. Кажется, что там до самого выпуска дела шли не лучше, чем в шестом отделении. Выправка не удавалась, и наказания не уменьшались нисколько...



Персонал классных дам. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.

Со вступлением в большой класс мы должны были познакомиться с некоторыми новыми учителями. Каждая новость подобного рода возбуждала у нас множество только будем ли мы обожать его или нет? А если нет, то не долго придумать ему и прозвище: на это мы были мастерицы. Как он будет спрашивать? Вызывать ли на середину комнаты, или на местах, где подсказать удобнее? Последним обстоятельством волновалась особенно моя лавка, скромно состоявшая последнею в списке класса. С умилением глядели мы на наших первых: там почти не знали этой тревоги. Лавка первых была наша слава и гордость, наша доска спасения в критические минуты жизни. Так зачастую изготовлялись на все отделение разные письменные задачи, заданные учителем. Работа выходила двойная или тройная для наших милейших оракулов, но мы никогда не слышали отказа...

Способности и характеры этого отборного кружка были очень разнообразны. Припоминаю их, чтобы сообразить, на сколько наши самые даровитые девушки могли бы сделаться в последствии учеными и специалистками наравне с мужчинами, так как в настоящее время поднят вопрос о равенстве мужчин и женщин в деле науки... Говорю только о врожденных способностей, которые всегда можно приметить, а не о том, на сколько их развило ученье в институте... Что ни одна из этих девушек после выпуска не приступила без какой-нибудь печальной необходимости, а добровольно, к серьезному занятию какою-либо наукой, это

положительно. Может быть, это произошло оттого, что десяток лет назад никто не говорил им, что они смеют, иметь эту охоту, в уже имеют ее в себе... Десяток лет тому назад время было совсем иное...

У нашей первой ученицы была огромная память. За пять минут до начала класса ей стоило взглянуть в книгу, чтобы знать и всегда помнить заданный урок. Училась она всему равно хорошо и всему равнодушно. Когда случалось ей сделать какое-нибудь верное определение, дельно объяснить вопрос, она не казалась особенно довольна собою. Она не смиренничала, нет, ее просто не радовали силы ее ума. Это было для нее нечто такое, чему она не видела цели, что-то второстепенное в ней самой и не Бог знает какое ценное, – силы, которые пусть себе развиваются, если хотят, и только тогда, когда чужой ум потянет их на деятельность. Она, конечно, отчасти и любила занятия, она даже очень любила читать, – книги попадались нам редко, без всякого выбора, – но и тут она не желала делиться впечатлениями. В наших недоразумениях по части уроков мы беспрестанно прибегали к ней. Она объясняла, но без нашего вызова или необходимости никогда не пускалась в толки. И это вовсе не из эгоизма: она была предобрая. Просто в ней не было насущной потребности видеть знание вокруг себя, знать самой и давать знание другим...

Ее соседка, вторая ученица, не имела ни такого соображения, ни такой памяти. Она любила исключительно два предмета, историю и литературу, и не пренебрегала другими затем только, чтоб удержаться на своем месте. Насколько было возможно при сухом и ограниченном преподавании у нас наук вообще, эта девушка умела находить в учебниках страницы по своему вкусу. Она привязывалась к ним всем сердцем. Ее привлекали имена гениальных писателей и подвиги героев, их воинская слава, хотя бы то была слава Батыея, – все громадное, блестящее, эффектное, все великое, конечно, с точки зрения наших руководств. Другой точки зрения ей взять было негде. Она училась как-то нетерпеливо и порывисто. Все, что требовало кропотливой работы ума, долгого обдумыванья, усидчивости, мучило ее и удавалось ей плохо.

Кузина Варенька была третьей с тех пор, как поступила, и до самого выпуска. Она принималась за все с одинаковою охотой, за многое с лихорадочным жаром, и постоянно была не довольна собою. Ей казалось, что она самое беспонятное существо на свете, и она молила Бога дать ей побольше способностей. Память у нее была удивительная, но училась она чрезвычайно неровно. Иногда по целым месяцам на нее нападала лень, какая-то совершенная невозможность взять книгу в руки. На то бывало много причин. Ссора с другом, прилив ласк Анны Степановны, которые действовали на нее мучительным образом, грустное письмо из дома... В такие дни Вареньку выручало только удачное подсказыванье или снисходительность учителя.

Рядом с Варенькой сидела Фанни Каменецкая, та нарядная девочка, мучительница наша, о которой я говорила прежде. Теперь это была прелестная пятнадцатилетняя девушка, грациозная, но не по-институтски, а с совершенною уверенностью в себе. Едва ли она не была самая способная во всем классе, но училась чрезвычайно капризно. Она, кажется, была прилежна потому, что прилежание шло к ней, как контраст с ее кокетливым и презрительным личиком, а главное, потому что образование – тоже недурное средство нравиться в свете. Похвалы учителя были ей приятны во всех отношениях: когда он обращался к Фанни с своим «*très bien, mademoiselle*», не мог же он не заметить ее красоты... Но иногда Фанни была несносна. На нее нападал дурной стих, и тогда конец всему. Она проклинала и «*cette détestable couronne*» (то есть казну) и «*ces bêtes de livres*», глядела на учителя такими глазами, что он не смел спрашивать, повелительно дергала соседок, чтобы подсказали, раздавала по всему классу свои тетрадки, чтобы за нее сделали переводы и заметки, дурно ли, хорошо ли, все равно. Класс исполнял беспрекословно, кто из страха, кто – принимая работу как особую милость, лишь бы Фанни сказала за труды: «*merci, charmante*»...

Она не любила своей соседки, пятой ученицы, быть может, потому, что между ними было некоторое сходство характеров. Соседка Фанни была прекрасно одаренная девушка, но впечатлительная в высшей степени. Она училась прилежно только тогда, когда нравился учитель. Если его заменял другой, тот же самый предмет становился ей противен. Например, она училась истории лучше всех нас, добывала исторические книги, делала выписки, твердила их наизусть, – заданный урок выходил у нее вдвое обширнее нашего, – и все это оттого, что она любила учителя истории. Чувство это доходило у нее до степени страсти еще не сознанной, но пылкой. Вдруг как-то ей полюбился учитель ботаники, в миг история была забыта. Приготовлять другие уроки стоило ей огромных усилий. Тогда она призывала на помощь свою соседку, Дунечку Ярославцеву, – шестую ученицу, которою заканчивалась лавка первых. Твердить вместе с нею считалось у нас благодатью, как будто от одного ее товарищества должны были сойти с нас и лень, и нетерпение. Мы называли ее «святою». И точно, эта Дунечка была кротка как ангел. В жизнь мою я не видала подобного прилежания при очень ограниченных способностях. Она трудилась как никто, и тяжелый труд, вместе с беспокойством от самой крошечной неприятности в классе, делали ее характер и физиономию постоянно печальными... Характер этот с течением лет, вероятно, не переменился.

Остальные в классе были более или менее похожи на первых. Поменьше способностей, побольше лени и одинаковый склад в занятиях. То какой-то поверхностный дилетантизм, то прилежание из моды и тщеславия, то прилежание из каприза души, – все непрочные задатки того, чтобы впоследствии наши девушки, особенно с молодых лет, могли серьезно отдаться науке, с пользою для себя, для других и для самой науки. И у тех, кто был поделнее, и у всех других, интересы сердца стояли выше интересов науки; чувство брало перевес над разумом, – чувство, которое трудно ограничить, потому что оно в натуре женщины, и которому в жизни предстояло еще более обширное поле... Мне кажется, что самобытная любовь к науке могла бы исключительно овладеть нами только тогда, когда мы покончили бы с молодостью, или когда удовлетворенное сердце уже устроило бы, по возможности спокойно и счастливо, ту среду, в которой жило бы и любовью и долгом.

Насколько новое поколение женщин, выросших после нас, изменилось или перевоспиталось в отношении к чувству, судить не буду...

Не знаю, почему нашему новому русскому учителю вздумалось для первого знакомства спросить у нас азбуку. Меня вызвали даже написать ее на доске. Если б это видел наш прежний педагог, он бы, верно, оскорбился. Но проба была всего только один раз, а там мы опять принялись за синтаксис по Востокову и Гречу. Мы стали учиться усерднее, потому что сам учитель был человек усердный, не охотник шутить; но дело от того не пошло лучше. Половина класса все-таки не достигла того, чтобы вытвердить наизусть и запомнить синтаксические правила, изложенные пространно и сбивчиво для нас. Время, между тем, не терпело; надо было еще учиться многому. Тогда учитель разделил свое преподавание таким образом один класс – повторение синтаксиса, другой практический, а к третьему мы готовили уроки из риторики. Кроме повторений, нам было приказано писать примеры на всевозможные синтаксические случаи, и чтобы примеры были изящные, и чтоб у всего класса разные. Для изящества была одна хрестоматия и изредка книги, приносимые самим учителем. У меня сохранилась огромная тетрадь этого труда, и половина его не моя. Работали за нас первые. О, какие отчаянные письма писались к этим ангелам!

...«Incomparable et céleste Mariel Au nom de Dieu trouvez moi pour cet affreux..... un exemple du родительный движения мысленного!!! Celle que vous détestez. Connue».

«Anastasie, je vous supplie pardonnez moi de vous avoir copié vos exemples de la частица к с дательным, означающим движение по направлению к наружной части предмета, et puis!» бессоюзие: рыщеть, пенится, сверкает et le многосоюзие... Vous en trouverez d'autres, parceque vous êtes un génie. Ne me méprisez pas.

Или наконец:

«Divine, Варенька, vite, tout ton cahier, car je n'ai rien fait pour aujourd'hui...» Этим последним способом обыкновенно взывала я.

В практическом классе делали мы переводы или поправляли заданные прежде. Мы переводили разные разности: «Обриеву Собаку», «Молчаливую академию или эмблемы», потом отрывки из Ламартина и Шатобриана. Мы учили наизусть множество стихов Дмитриева, Батюшкова, Жуковского, Кольцова, Пушкина и несколько произведений графини Ростопчиной. Припоминаю теперь, что ее талант казался нам выше всех названных поэтов. Это не было мнение учителя, нет, но, должно быть, в его добросовестном преподавании не было того убедительного красноречия, которое прививает вкус и способность поражаться истинно прекрасным. Помню, один раз он принес «Мертвые души» и сам читал вслух отрывки. Он прочел описание деревни Плюшкина; мы не почувствовали красоты ни малейшей. Потом визит Чичикова к Собакевичу. Но тут уж мы ровно ничего не поняли.

Мы сочиняли и сами. Упражнение в авторстве во время класса было для многих наказанием Божиим, а многие и любили. Две наши первые, Marie и Anastasie, исписывали свои листки единым духом. Кузину Вареньку, напротив, эти импровизации приводили в нервное состояние. У нее дрожали руки, щеки пылали, строчки на бумаге являлись и тут же вычеркивались; кончив, она с тоской отдавала тетрадь, и цифры 9 и 10 (высшие баллы), выставленные учителем, не могли ее успокоить... На дальних лавках, между тем, происходило печальное грызение перьев. Иные еще скребли по бумаге, а другие, отказавшись совсем, равнодушно выдвигали из пюпитра кончик тетради «Христианских обязанностей», и принимались твердить урок к завтраму. Классные дамы, завидев злоупотребление, отбирали эти тетради, но сочинения от того не подвигались. Раз, я помню, почти никто не мог сочинять в классе. Было первое мая, погода великолепная, деревья все в зелени, окна наши были открыты; из них, в отдаленной улице, виднелись вереницы экипажей и толпы пешеходов. Москва отправлялась гулять. В самом воздухе веяло праздником; даже звонарь на церкви Иоанна-Воина, стоящей в нескольких саженях от института, даже этот звонарь, прилежнейший человек в мире и звонивший всегда так усердно, что заглушал наши голоса, — даже он опоздал с вечерней. Мы сидели и сочиняли. Учитель дал темы: «Гулянье в Сокольниках» и «Спустя лето по малину в лес не ходят никогда». На последнюю тему велено было работать нашей лавке. Мы потребовали объяснить сюжет. Нам объяснили, но все равно я ничего не делала. Зато соседка моя, Соня Иванова, находилась в страшном волнении. Уже в два подобных класса перо ее не произвело ничего, и учитель объявил, что теперь непременно спросит ее задачу. Соня смотрела в окно.

— Что ж ты? — шепнула я.

— Détestable, — проговорила Соня, взглянув на учителя. И затем с ожесточением принялась мараить бумагу.

— Кончили? — спросил учитель, когда она сложила руки. — Прочтите.

«Спустя лето по малину в лес не ходить некогда. Это то же, если человек в цветущей молодости своей не старается приобрести святых добродетелей, которые так угодны Всевышнему и Всеблагому Богу. Злой человек, терзаемый адскими пороками, погибает, и тогда он падает в провал, в пропасть дьявола...»

Нас увели в сад освежиться чистым воздухом. Но не всегда на дворе было первое мая. Иногда нам случалось всем отличиться. Раза два мы решительно привели в восторг учителя. Это произошло при одном покровителе просвещения, который посетил институт. Такая наша счастливая полоса, что даже на синтаксические вопросы мы отвечали превосходно. Довольный посетитель пожелал убедиться, как мы сочиняем. Он предоставил нам самим выбор сюжета. Наши гении Marie и Настенька превзошли себя. Marie бойко выставила вверху своей странички «Океан». Она не написала морского пейзажа, имея более в

виду провести параллель между водною пучиной и глубиной души человеческой, Настенька избрала себе в сюжет «Пожар Москвы». Мы чуть не ахали от восхищения, когда она прочла вслух, как Наполеон бежал, гонимый призраком пылающей столицы, и потом – как контраст мрачному прошедшему – заключение, где царица русских городов, возрожденная из пепла, являлась в венце из алмазов и жемчуга... Кто написал «Осень», «Восхождение солнца», «Письмо к другу о прелестях деревенской жизни», и т. п. Кто не знал, что написать, тот попользовался старыми произведениями первой лавки. Литературное воровство было скрыто легкими изменениями, и дело обошлось благополучно. Посетитель насказал нам самых лестных комплиментов, и даже увез с собою несколько сочинений.

...В первом отделении, исключительно против других отделений, прибавились у нас еще два класса: физики и естественной истории. Преподаватели этих двух предметов были наши мученики. Учитель естественной истории, француз, был человек изящный и деликатный в высшей степени; он смотрел на нас как на рассажник нежнейших цветочков, и твердо веровал, что всем *jeunes filles candides* должна быть любезна его наука, по крайней мере, хоть та ее часть, которая касается цветов и птичек. Приступим к делу, он горько ошибся. Мы, дуры (то есть большинство), никогда не учили ему уроков, и знали, что мы никогда не поставит нам нуля. Он имел терпение диктовать нам руководство по всем отраслям своего предмета, старался быть по возможности кратким и занимательным, сам просматривал продиктованное. На нашей лавке во время его класса было превесело. Болтаешь под шумок; учитель добрый; услышит, улыбнется, иногда спросит, и если ему не соврешь хоть на десятую долю, то он уж совершенно счастлив. Взглянешь тетрадку. А там записаны такие моллюски и зоофиты, каких нет ни в одном море. Чтобы привлечь своих «*aimables élèves*» к науке, учитель принес в дар институту ящик с небольшим гербарием, образчиками минералов, две-три чучелы птиц и чучелу маленького крокодила. Половина ящика скоро опустела. Что было можно, то мы съели; перышки наклеились на бумажки и виде вензелей, а крокодил, как фаворит, долго жил между нами на лавке, потому что нам было весела пугать им соседок. Хотя бы мы за это удовольствие потрудились запомнить, к какой породе относил его учитель! Этот человек, исключение из своей породы по крайнему незлобию, иными днями бывал-таки взбешен. Бывали дни, в которые он нам не улыбался. И Москве, у него было занятий по горло, и несмотря на то, он еще находил досуг приезжать к нам иногда, во время вакации и сад, с твердым намерением побеседовать о ботанике. Мы обступали его, и покуда две или три девицы внимательно слушали о пользе семейства *graminées*, – другие, стоя поодаль, шептали ему «*céleste, incomparable*», и уходили. Мы обожали его, и его жену, и его юное поколение. Он привозил своих детей на наши балы, и обожательницы дарили их конфетами от Люке, о которых заранее шла жаркая переписка с московскими родными.

Другой наш мученик и его поколение никогда не получали конфет. Учитель физики был старик, больной и немного желчный. Мы бессовестно выводили его из терпения. Три четверти класса так и вышли, не желая смекнуть, что такое за птица физика и зачем ей учат? Старик был отчасти и сам неправ. Он объяснял ужасно торопливо, приносил такие огромные листы, чтоб мы их списали и выучили, что у нас не доставало ни понятия, ни терпения, ни времени. И классном шкафе лежало и небольшом количестве экземпляров, руководство к физике Двигубского. Иногда мы брались за него. Книги эти были и странном состоянии. У одних недоставало телячьего корешка, у других корешков не было бумажной внутренности. Зачем так поступил с ними предыдущий выпуск – не понимаю. В шкафе с физикой были у нас любимые предметы. Электрическая машина и крашенные стеклянные куколочки и виде бесиков. Нам ужасно хотелось их украсть; кажется, около выпуска это и совершилось.

Когда вспомню о наших педагогах, становится и горько, и стыдно. Мы и не подозревали тогда, каков это был труд – учить прелестный пол, соблюдая подобающую вежливость. Целых шесть лет ни разу не сорвать сердца, когда, я думаю, хотелось бы разругать нас, как

мальчишек! И если такие дела делались у нас, в первом отделении, что же творилось во втором и третьем?

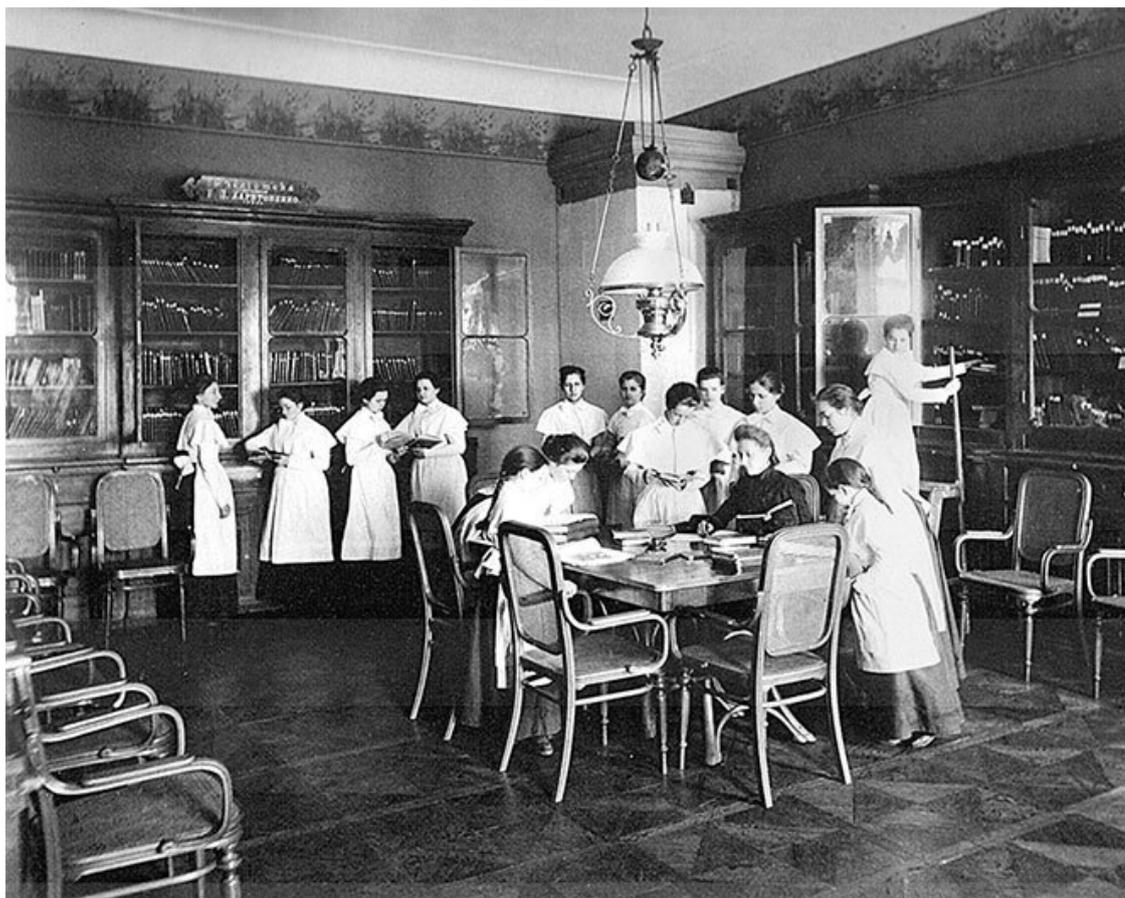
...В сущности, даром что нас величали большими, мы были все те же дети. Та же беспредельная веселость, ни малейшего помышления о будущем, радость, когда удастся хорошо поесть... Особенно бывали приятны заседания в каморках у классных служанок, которым заказывалась сковорода картофеля или блины. Это случалось в рекреацию или в антрактах танцевального класса. Из каморок мы выходили чрезвычайно веселые, или грустные, если, бывало, поймают или помешают. Веселье и слезы приходили к нам странными приливами. Помню, как-то, перед Светлым праздником, мы были в дортуаре и одевались к заутрене. На весь дортуар напал неудержимый смех, пошла возня, шалости; одна приятельница, постоянно грустная и все пившая уксус, тут же, не дожидаясь розговин, схватила три яйца вкрутую и съела. Пробила полночь: кто бросился целоваться, кто творить земные поклоны, «чтоб исполнились три желания»... Пришли в церковь, стали на клиресе, – и принялись плакать. Едва-едва сладили канон Пасхи...

Беспредметная тоска приходила, впрочем, редко. Гораздо чаще являлась какая-то отвага, желание испробовать на чем-нибудь свою свободу и свои душевные силы... Взобраться на церковные хоры, когда, бывало, идешь в лазарет (есть и другая дорога) – и остаться на хорах одной, совсем одной... Это мы любили. Церковь пуста и темна; одна лампада пред иконостасом, ни шороха, ни звука... А там, за церковью, «верхний» лазарет, совсем необитаемый, куда помещают больных только во время эпидемии. Вот и «мертвая комната» со столом для покойниц. Чтобы спуститься в нижний лазарет, надо идти мимо... Идешь, а в душе разливается какая-то гордость...

Свободу свою мы пробовали беспрестанно. Сбегать в дортуар между переменами учителей, и вообще в неположенное время, было у нас первым удовольствием. Иногда так, ни за чем, лишь бы сбегать. Шестьдесят ступеней по чугунной лестнице были нам нипочем. Помню однажды я провела критические минуты. Трое нас забрались и еще в дортуар Анны Степановны. Она была не дежурная. Вдруг совсем неожиданно скрипнула ее дверь. Мы юркнули под постель. Рядом со мной очутилась моя приятельница, Олимпиада Митева. Она была огромного роста, и прозывалась Большою Лапой. Юркнув, она забыла о своих длинных ногах, которые остались наружи. Анна Степановна вошла, и как она вас не заметила, не понимаю. Она открыла дортуарный комод с бельем и стала считать его. Мы лежали. С невероятным усилием, чтобы не изменить себе, Лиза подобрала наконец свои ноги. Три четверти часа прошли таким образом. Мы задыхались. «Лиза, я умру», – прошептала я в ужасе. «А разве я на розах лежу?» – отвечала она, я чуть мы обе не покатались со смеху... Но, слава Богу, Анна Степановна в эту минуту удалилась.

С грустью вспоминаю, как об эту пору наши ложные отношения к классным дамам, взаимное непонимание долга уже во многом сильно нас испортили. Солгать, обмануть нам ровно ничего не стоило. Ни тени стыда и даже похвалы от товарищей. Не понимаю, за что третье отделение страдало больше нас. Вероятно, там был народ более прямой и откровенный, чем мы, грубили там попросту, скрываться не умели, и за это попадали в *mauvais sujets* навечно. Там иные девушки были совсем несчастные и совсем тупоумные от природы. Не понимаю опять, почему, замечая совершенную неспособность их выучиться, не могли бы распорядиться таким образом, чтоб этих девушек, при знании русской грамоты и закона Божия, занять одним рукодельем? Работать они могли отлично. Это могло бы им, по крайней мере, пригодиться впоследствии... Нам бывало и жалко, и смешно смотреть на них. Бедненькие питали к нам робкое уважение... Впрочем, одного *mauvais sujet* мы очень любили. Это была девушка удивительной доброты, вместе наивная и бойкая, но которую так часто лишали передника и «расчесывали в косички», что она вообразила себя чем-то вроде заброшенного сорванца или институтской шутихи. Она слыла у нас отличным куаффером, и пер-

вое отделение счастливило ее своею практикой. Вскочив раньше всех (не последняя жертва) она приходила в наш дортуар и устраивала нам великолепные прически «Clotilde», то есть передние косы, заплетенные в мельчайшую решетку. Причесав, она бежала к себе сломя голову и опаздывала одеться к молитве, что не обходилось даром. Помню, в одно воскресенье приехал мой отец и дожидался, когда кончится обедня и мы выйдем из церкви. Едва я подошла к нему, как подошел и мой милый *mauvais sujet*. Ей хотелось спросить что-то о своем брате, которого знали мои родные. Она спрашивала очень искренно, очень развязно, и чрезвычайно понравилась моему отцу. Классная дама покосилась на нее, нам тоже показалось это дико. «Без позволения *mademoiselle*... совсем незнакомый человек, и так щебетать...» Поступок был поистине вне институтского понимания...



Раздача книг в библиотеке. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.

Она пять лет не видала никого из своих... Не для нее по четвергам и воскресеньям наполнялась приемная зала, шел тихий разговор, передавались конфеты, рукопожатия, поцелуи... А были иные девушки, которые не понимали, может ли даже существовать воскресенье, пропущенное родными... Но здесь, вспоминая наших счастливиц, мне приходит на ум одна странная вещь. Несмотря на частые сношения с родным домом, эти девушки (об исключениях нечего говорить) так же мало знали и думали о средствах своих родных, как и забытые девушки. Страх ли это огорчить милую дочь, недоверие ли старшего к младшему вообще, или мысль, вкоренившаяся во многих семьях, что только сын в состоянии понять и разделить семейные заботы, а дочь – так себе, дорогая игрушка, будущее бремя, которое надо сбить кому-нибудь на руки... Бог знает отчего это было, только так было. Может быть, и самый наш институтский склад, сконфуженно-торопливый даже в изливаниях детской любви, наша рассеянность и невнимание ко всему, что не касалось сражений с класс-

ными дамами и учительских баллов, – может быть, и эти причины останавливали на время курса откровенные разговоры родных с дочерьми-институтками. Мы и точно смотрели обитательницами другого мира, к которому трудно приступить. Помню, одна старушка прозвала нас всех «чистыми ангелами». Это была славная женщина, мать одной девицы нашего класса, женщина бедная и простая, получившая доступ даже в самый дортуар. Мы ее очень любили и ласкали. Но никогда не забуду одного гнуснейшего поступка, который может простить себе разве крайняя молодость. К одной воспитаннице приехала мать. Она нам встрети-лась... «Mesdames! Dieu! Voyez quelle horreur!» (Мадам! Боже! Смотрите, какой ужас! (фр.) – ахнули мы в голос... Дочь поняла, и горько заплакала тайком. Дама точно была страшная; но нас столько же испугал ее старомодный чепец и пестрое старое платье, как предметы, которые не должны были бы являться в стенах института... Помню также наивную мину и непростительное смущение одной институтки, когда ей попался листок газеты, где объявлялось о продаже имения ее близких родственников. В газете принесли ее приятельнице колбасу из лавочки. Приятельница, во всем мире не имевшая ни одной крепостной души, ни клочка поземельной собственности, прочла, засмеялась и показала другу: «Как это, Танечка, у тебя пять душ продается с аукциона? Que c'est drole (Как это забавно (фр.), иметь только пять душ!» – «Какие пять, – возразила Танечка, вспыхнув от стыда, – видишь, вот еще три, еще семь... Et puis ce n'est pas à moi, c'est à un oncle que je ne connais pas du tout... (И потом это не я, а дядюшка, которого совсем не знаю... (фр.))

Добро бы нас держали в роскоши, тогда бы подобные выходки были понятны... Но если наши родные молчали о себе, все же мы могли бы знать о горестях остального белого света. И в этом незнании я также решительно виню и наше начальство... Мы были в маленьком классе, когда над нами пронесся один страшный и всем памятный год. Половина России бедствовала; кругом Москвы горели леса; аллеи наши были буквально выжжены. Нам было душно, но вот и все. Что сделало это губительное солнце с нашей родиной, нам не сказал никто. Довольно того, что только после моего выпуска я узнала, как народ божий тысячами валил из селений в города, падая по дорогам в мучениях голодной смерти... Странное нерадение о нашем сердце, нерадение, которое могло бы впоследствии сделать из нас или эгоисток, или трусливых автоматиков, неспособных даже вынести первого столкновения с горем... И если б еще молодость не желала делать добра! Но мы бывали рады каждому удобному случаю. К сожалению, во все шесть лет нам дали их только два. Один раз как-то обмолвился эконоом, что сгорел большой губернский город, и мы попросили вместо казенного бала послать бальные деньги туда. Да еще дала случай Анна Степановна. Раз мы подсмотрели в ее комнате бедную женщину с кучей ребят. Анна Степановна, вывернув весь свой бедный комод, раздавала по рукам от платья до обуви. Эта черта нас поразила... Мы попросили позволения сделать то же, и совсем вывернули наши еще более тощие кошельки и дортуарные табуретки...

Сколько помню, вакация на второй год в большом классе вышла превеселая. С нашими дамами мы были в каком-то особенном согласии. Мир не нарушился ничем, так они были снисходительны, мягки, даже шутивы. Эта чрезвычайная неровность в обращении понятна мне только теперь. Это было и бессознательное выражение потребности чувства, и смутное недовольство собой. Подобное соображение, способное разжалобить в пользу власти, конечно не являлось нам в то время. Мы были только до смерти рады, что с нами не воюют. Притом лето в этот год было чудесное. Наши вековые липы оделись непроницаемой тенью, притаив тысячи гнезд, до которых мы были большие охотницы. Весело было, закинув книгу, улечься в густой траве и ничего не делать. Солнце легонько пропекает сквозь листву, глаза смыкаются, а по губам пробегает какая-то безотчетная улыбка... улыбка молодости, которая думает, что ей не будет конца... Из-за полузакрытых ресниц нам видны дальние пределы сада; там мелькают зеленые платья, белые пелеринки и ручки с тетрадами. Вот по средней

аллее, откуда можно обозревать нас всех, полтора часа не садясь, снуют наши классные дамы; синие платья так и сверкают. «О противные!» – и отвернешься.... Нам и в голову не приходило, каково им и что это за тоска – поневоле стеречь такое стадо! Что ж, что перед этими женщинами не заперты двери света? Не для них там любовь и домашний очаг: они там вечно останутся гостями. Вот этого-то высочайшего счастья, быть своею, они не узнают никогда. Годы, десятки лет пройдут, и все то же, и все то же... Одно стадо сменил другое, синих платьев износится без счету, покуда, наконец, последнее ляжет в гроб вместе с его обладательницей... Но какое нам было дело до всего этого?.. В вашем мирке дружбы жилось привольно, без размышлений. Нам было весело. Маленький класс уже кричал нам «adorable»; иные красавицы насчитывали у себя десятки адоратрис. У меня была всего одна, и то пренебрежная девочка, но и та доставляла мне большое удовольствие. Я ее мучила нарочно, не давалась «целовать в плечико», не глядела на ее умильные рожицы. Она делала для меня тьму глупостей. Раз, после обедни дьячок мне подал просвиру, такую огромную, какую ни один архиерей не награждал заезжего гостя-архиерея. При ней была бумажка с золотым узором и словами: о здравии такой-то... Священник приказал сказать моей обожательнице, что в другой раз он такой просвиры не примет. Но предмет общих вздыханий была Фанни Каменецкая. Одна девочка прыгала от радости, что ей прописали пить скверный декокт, потому что Фанни пила тот же. Когда она приходила к маленьким, дежурная, с красным бантом на рукаве, спросить *qui des dames s'abgente et quel maître a manqué*, – по всем лавкам со свистом и удушьем раздавалось: «Oh, céleste beauté, ne nous rendez pas malheureuses!» Фанни останавливала их равнодушным взглядом. Это была счастливая девушка, которая прожила свою жизнь в институте особенно спокойно. У нее никогда не было ссор с классными дамами. Даже в общих бедах, распеканьях, стояниях на лавках и за обедом Анна Степановна как-то осторожно не относилась к ней с своею речью, а проходила далее, будто Фанни попала так только, нечаянно, с другими. Встретясь с нею после выпуска, я как-то вспомнила об этой разнице обращения... – «On m'a ménagé parce que j'étais fière, – возразила Фанни: – je tolérais la couronne mais je ne la craignais point». Точно, она казалась горда, не столько на словах, потому что не любила доводить себя до разговоров с классными дамами, сколько презрительным выражением своего личика. Оно ясно говорило, что Фанни считает институтскую жизнь временем переходным, а наши мелочные волнения такую глупостью, для которой не стоит тратить сердца. Впереди свет, блестящий, нарядный; она будет в нем, конечно, не последняя. За тех из нас, кто страдал институтским страхом, она возвышала голос, и, зная свое странное влияние на классных дам, ошибалась редко. Для Фанни прощали виноватую. Она не раз оказала мне эту услугу, хотя я с ней ссорилась беспрестанно. В дортуаре она была моею парой по одеванию. Она находила, что я неловка, и бесилась страшно. Один раз, точно злобный котенок, она вонзила мне десяток булавок в руку, и в тот же день выручила меня из какой-то беды. В большом классе каждому отдельному дружескому кружку хотелось притянуть Фанни к себе. Мы смутно чувствовали, что у нее был, в сравнении с нами, какой-то перевес ума, вместе практического и насмешливого, который был нам необходим противу излишков восторженности и чувствительности. Мы ее и любили, и ненавидели. Часто Фанни служила нам яблоком раздора. В эту самую ваканцию, о которой я теперь говорю, Фанни произвела страшную ссору между двумя приятельницами. Наша первая, Marie, долго обожала учителя немецкого языка. Вдруг ей понравился один толстый кадет на нашем бале. Ее соседка, Настенька, была постоянною поверенною ее сердца. Но в этот раз Marie скрыла от нее свою измену. Тайну о кадете она передала Фанни, удержав как-то за крылья ее ветреную дружбу. Фанни захохотала и рассказала кому могла. Узнав о столь гнусном обоюдном поступке, Настенька разразилась гневом. Ссора вышла на все отделение. Из одной аллеи в другую полетели курьеры с записками, наконец созвали

свидетельниц, в том числе и меня. Первое из этих грозных посланий осталось в моих руках. Послания наши всегда писались по-французски.

«Marie, vous vous étonnerez, peut-être, que je prends la hardiesse de vous écrire, mais il faut noue expliquer. Je vous ai appliqué le terme de «lâche» qui vous a paru choquant, un terme que je ne me serais jamais permis de prononcer, si... Mais vous conviendrez que vous avez trompé bien cruellement mon aveugle confiance. Vous, que je croyais être l'idéale du beau, du sublime, vous, que je prenais pour modèle de vertus, vous vous laissez gouverner par une tête légère, par une personne perverse... Ce que j'ai appris relativement à votre objet m'a extrêmement étonné... Mais je ne veux pas y croire, c'est trop indigne de vous. Mais vous l'avez caché de moi, moi qui voue ai longtemps supplié... Ah! n'en parlons plus, je n'étais pas digne de votre confiance. D'autres personnes obligeantes, douces, dévouées, ont gardé votre secret de manière que la moitié de l'Institut le sait. Je vous assure que votre compagnie ne me fait ni chaud ni froid; je me suis mêlée à l'affaire unipuelement parce que je vous ai vu là dans la révoltante compagnie d'une personne dont le caractère noir ne vous est que trop connu. Vous voue querellez avec Dounitchka Yaroslavtzeff parce qu'elle est en querelle avec elle. Je ne vous reconnais plus. Adieu. Je vous parle librement, tandis que tout le monde vous admire. Il y a y ait aussi un temps où je tous ai admiré. Déchirez ce billet. Epargnez-moi l'horreur de voir mes sentiments servir de jouet à vos amies...

Дело, разумеется, кончилось мировой. Под вечер этого дня враги уже ходили вместе, рука под руку, забыв и гнев, и слезы...

Я чрезвычайно приятно проводила свою вакацию. Наш кружок выбрал себе отличное местечко в аллее, у пруда, и заседал там. Мы вышивали по *papier-riqué* сувениры и закладки для книг, а одна приятельница, уткнувшись в траву, читала Байрона. Запретная книга огромного формата ловко пряталась в бездонных карманах, и перебивалась у всего первого отделения. Мы в ней ровно ничего не смыслили, но, все равно, прочли. Более прилежные, удалясь от света, занимались своим делом. Его, по-нашему, было немало. Одному «божественному» Б. надо было приготовить повторение всей русской истории до самозванцев, да еще из всеобщей среднюю, по Смарагдову. Это руководство учитель наш принял в большом классе, а русскую историю имел терпение диктовать нам сам, в продолжении четырех лет... История лежала у меня на совести, но я откладывала дело сколько возможно к концу милого сезона. Особенно Смарагдов становился несносен под вечер дня, когда с запада потягивало прохладой. Так бы и ушел Бог знает куда, далеко, далеко... Уйти было некуда, и мы бежали к купальне. Вид пруда был наше наслаждение. Там громкий хор лягушек, которых весело дразнить, туда можно бросаться, тормозить трусливого друга, обдавать его водою... После купанья, впрочем, случалось несчастье: являлся волчий аппетит, в блаженна была та, которая имела гривенник! Если он был, мы пиروвали. Гривенник посылался к работнице священника, и оттуда приносили горшок молока и ломоть ржавого хлеба. Провизия исчезала в секунду, но помню, что одна моя приятельница приступала к ней с особым благоговением. На то был резон: она обожала священника. Священник наш был человек немолодой, болезненный и очень серьезный. Он никогда и не узнал об этом шестилетнем обожании, так оно было почтительно и всегда хранилось в тайне. Девушка эта была существо замечательное. Я никогда не видала более резкого типа будущей деревенской хозяйки, рачительной и благочестивой. Все в ней, от ее щепетильно-расправленного и разглаженного фартучка, головки причесанной волосок к волоску, до голоса, движений, почерка руки – все дышало аккуратностью. Поведения она была примерного; ее табуретка в дортуаре была образцовая по своему внутреннему порядку, но все-таки не могла не вмещать в себе чего-нибудь хозяйственного. Так, этим летом она солила грибы. Она заключала их в миниатюрную банку с душистыми травами, закрывала кирпичиком и прятала в табурет. Где она брала эти грибы, не понимаю. Мы никогда не участвовали в поисках. Под вечер, собравшись гурьбой, наша компания обходила все аллеи, оглашая воздух самым разнообразным пением. Тут было и *quando*

le trombo squille, известный хор для мужских голосов из Пуритан, и квартет из Лучии, все спетое на самых тончайших дискантовых нотах. «Басов» мы «презирали», находя вообще, что это смешной голос, даже у мужчин, и приличен только зверю. Один басистый московский диакон, который как-то служил в нашей церкви, чуть было не уморил нас со смеху. За итальянским концертом шел духовный. В это лето певицы решительно замучили уши и несчастных классных дам и своей непоющей братии. Наш хор (в том числе и я) готовился венчать дочку эконома. Нам обещали за труды много конфет и винограду. Мы спевались и в классе, и кричали «Исаия, ликуй» в аллеях, что было сил... Вдруг, на нас напала грусть... «Mesdames, панихиду, отпевайте меня», требовал кто-нибудь в кружке. И затем, на фальшивейших нотах, раздавалось в воздухе «со святыми упокой», «житейское море»... и так далее, и так далее – покуда наконец все это пение, утомив надзирательский слух, вызывало благо-разумное: «Assez, mesdemoiselles... Eb bien, pour l'amour de Dieu!..»

Настроенные на грустный лад, мы обыкновенно просились навестить больных. Для молодости нет ничего несноснее нездоровья. Из лазарета часто долетали к нам записки, наполненные самых отчаянных возгласов о тоске разлуки, самых преувеличенных воззваний к счастливицам, которые на воле забывают, и проч. Кто просил списать стихов на память, кто требовал хоть так, сувенира; кто не считая себя в среде живых, спрашивал, уже нет ли перемен в институте и обожают ли там по-прежнему? Тут же сводились счета по части дружбы. Помню, когда мне случалось быть больной, я бывала ужасно сердита.

Одну мою приятельницу я постоянно доводила до слез. Раз, под влиянием лихорадки, я настроила ей четыре страницы, где выговорила ей все, все...

«Divine, incomparable Olga! Vous m'abandonnez... tous qui étiez ma seule consolation dans cet abîme! Vous, à laquelle je confiais mes douleurs, où êtesvous? Est ce donc ainsi que Ton aime? Quelquefois tous me chassez quand je viens tous demander quelque chose... Ah, au nom du ciel, que'est donc ce mépris! Si vous saviez combien je suis jalouse! Si j'ai un billet de vous, ne tremblez point, il sera sous clef comme un trésor, personne ne le verra. Oh, que je vous idolâtre! Avec quel transport j'ai écouté aujourd'hui du fond de mon abîme quand vous avez chanté. Ange, descendu du ciel! Au nom de votre ame, envoyez moi à l'infirmerie votre cahier de statistique pour B. Je sais que vous êtes capable de le donner à tout le monde excepté moi. Remettez à notre premier génie ma vilaine composition cijoint, mais si elle en rit, je suis perdue!.. Heureuse, vous êtes en classe, et moi!.. Adieu, pardonnezmoi mon audace. Déchirez ce billet, il ne doit être vu de personne, ne conservez pas même les traces de mon existence. Bien connue et bien détestée...»

Меня спешили навестить. С своей стороны я была такая же усердная. Притом, идя в лазарет, можно было зайти к аптекарю и приобрести кусочек девьей кожи, или еще какой-нибудь дряни. А удовольствие пошататься с лестницы на лестницу? Оно чего-нибудь да стоило. В это лето на многих из нас напал решительный припадок дурачиться, хоть как-нибудь, да новеньким образом. Раз мы втроем взобрались на чердак, и что это было за наслаждение увидеть себя в новом мире! Громадный лабиринт переходов, бесчисленное множество печей, перекладин, слуховых окон... только и видно, что небо да далекие московские трубы!.. Шалость осталась втайне. Но вслед за ней мы сделали другую, которую оплакали горькими слезами. Наша компания, убежав из сада, заседала на третьем этаже, в каморке у дортуарной горничной. Так было чрезвычайно приятно. Мы ели и посматривали в окошечко. Из окошка был виден угол глухого переулка, а внизу (как это мы забыли!) приходился в нашем саду балкончик из гостиной директрисы. Вдруг в переулке показались гуляющие, дама и мужчина. Дама была наша институтка, Lise Василькова, за полгода перед тем вышедшая из заведения, потому что родные приискали ей покуда жениха. Она уже была замужем, и шла под руку с супругом. Мы ее за что-то терпеть не могли... Завидев чету, мы с криком высунулись из окошка.

– Mesdames, Лизок идет, voyez c'est Лизок, est elle drôle, voyez!..

– Vos tabliers, mesdemoiselles, – сказала, входя, инспектриса классов.

Она сидела на балкончике с маман, и там видела все. Маман сама прислала наказать нас. Мы заливались горькими слезами. Три дня сряду, даром что нам давно уже возвратили передники, мы робко приходили в коридор, к кабинету маман, чтобы встретить хотя ее взгляд. Наконец, она нас заметила.

– Pourquoi me donnez vous du chagrin, mesdemoiselles, i moi qui Vous aimetant? – сказала она.

Ее прощение и улыбка сделали нас счастливыми на целый месяц.

Вообще об эту пору институтская жизнь наша была гораздо легче прежней. Перебирая ее, я стараюсь не забыть самого маленького случая, который бы стоил благодарной памяти. Так, вспомнив об инспектрисе, спешу помянуть ее добрым словом. Об эту пору в большом классе она выказалась нам с такой хорошей стороны, какой мы не ожидали. Из самых крайних mauvais sujets она выбрала трех или четырех и взяла их под свое покровительство. Ее гостиная отворилась для них, как гостиная директрисы отворилась для первых.

Во время вакации обыкновенно бывали еще два удовольствия: визит А-ского института, и потом отдача визита.

А-ские приходили первые. Это делалось с большим торжеством. В назначенный день, в пять часов после обеда, одетые в новые зеленые камлотовые платья и тонкие передники, имея при себе инспектрису, всех классных дам и всех пепиньерок, мы выстраивались по отделениям вдоль главного проспекта, ведущего от крыльца к так называемому маленькому саду. В боковом липовом боскете стоял оркестр. Швейцар, в полной парадной форме, ждал у крыльца. Вдруг, по данному полицеймейстером знаку, двери на крыльцо отворялись, и музыка начинала польский. Показывалось шествие. Наша директриса и член совета, встретив предварительно директрису-гостью, вводили ее в сад. За ними тянулась бесконечная вереница гранатного цвета платьев, чужие классные дамы, чужой эконоом, полицеймейстер. Гранатные платья приседали на ходу, мы, стоя, приседали то же. Дойдя до маленького сада, директриса раскланивалась, мы трогались с места, и оба института, мигом, врассыпную, покрывали извилистые дорожки. Целые партии шли в аллеи, другие скорее искали скамеек. В саду даже было тесно. Но если бы в нашу толпу проник какой-нибудь наблюдатель нравов с твердым убеждением, что тут-то и увидит умилительную фратеринализацию юных поколений, он был бы крайне огорчен. Гранатное не мешалось с зеленым. В маленьком классе это еще бывало, но в большом почти нисколько. Мы находили что гости и неловки, и совсем нет хорошеньких, et qu'elles n'ont pas du tout l'air comme il faut. Вообще, при совершенном отсутствии гордости между своими, мы твердо помнили, что наш институт не какой-нибудь А – ский, а повыше, и выше всех других в иерархии женских заведений... Мы уходили своими компаниями, высоко поднимая голову. Кроме того, нас занимало, как отличится в этот день наш эконоом. К торжеству всегда готовились ведра шоколаду, вороха смородины, и даже дыни. Все это бывало превосходно, но чужой эконоом всегда как-то умел перещеголять нашего... Музыка между тем гремела. Классные дамы напоминали нам, чтобы мы шли приглашать. Кадрили с гостями составлялись неохотно. Понемногу, однако, вечер одушевлялся, и к той минуте, когда на небе вспыхивали первые звезды, а мы доедали тартинки с телятиной, то есть вообще, к минуте расставанья, праздник в самом деле принимал вид праздника...



Коридор между музыкальными селюями. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.

Тоже самое происходило и при нашем визите соседкам. Раз однако была вариация. Нашла громадная туча и нас поторопили домой. О, как было весело! Сумерки набегали все темнее и темнее, полуверстное пространство между строениями институтов так и исчезло под стадом институток... Только и мелькали что белые пелериночки, да белые переднички... Ударил гром и все пустилось бегом, вскачь, и швейцар и классные дамы, и начальство... Чудо как было весело!..

Наконец вот подкрался и он, последний год курса. Задумавшись над учебником, мы выводим его цифру... На душе все сильнее растет и радость, и печаль... Мы учимся очень прилежно; каждая спешит наверстать потерянное время. Дружба наша пылает до того ярко, до того восторженно, что нам кажется, будто мы развели ее неугасимый огонь... А между тем это ее последние вспышки.

Мы не предчувствуем этого, как и не замечаем многого, хоть бы того, например, что мы стали несравненно хуже... Нам кажется, что в нас выросли прекрасные силы, энергия, стойкость мнения... Ничего этого нет; мы только стали несправедливы. Мы дошли до этого постепенно. Сперва безответность, а там, для самосохранения – ложь; из удачной лжи – способность хитрить; а при этой увертливой и какой-то насмешливой силе могли ли мы уважать тех, кого обманывали своею хитростью? С ужасом скажу, мы их презирали. И когда подумаешь, что эта нравственная порча выросла на чего ж? – из чистейшего вздора, из придирок к пустякам. Вспоминая совершенно беспристрастно как наших старших, так и нас самих, мне бы даже хотелось найти за нами крупные вины, крупные пороки, чтоб оправдать тех... Ну, хотя бы грубое своеволие, врожденную дерзость (таких было едва ли две-три во всем институте); ну, хотя бы, наконец, неслыханный между девицами порок – воровство, или – чудеса из чудес под замками института, – любовная история... Но преступления нет и нет – и я ищу напрасно.

Мелочами началось, мелочи и довершили зло. Мы сами стали несправедливы, – и странно, именно к концу институтской жизни, когда классные дамы смягчили свое обращение. Может быть, эта самая милость, вместе с памятью гонений и изредка еще воздвигаемыми гонениями, произвели наше новое чувство. Стыдно сказать, мы почти не выносили даже дельного замечания. Наконец, мы мстили, – глупо, недостойно, но как было в наших средствах. Раз, шестнадцатилетние девушки, мы высыпали целую солонку в суп Вильгельмины Ивановны, кажется, только за то, что она лишний раз сказала: «tenezvous droite». Вильгельмина Ивановна съела, мужественно съела, глядя нам в глаза. Ей не хотелось лишней ссоры. Из нас никто не попросил прощенья. В этот последний год мы нанесли Вильгельмине Ивановне много печали. Чего от роду не бывало, мы пожаловались на нее директрисе. Преступление ее было самое обыкновенное, совсем в ее нравах. На эту простую и снисходительную женщину напал припадок строгости. Она была в дурном расположении духа, и в свободное время усадила нас на места. Мы и точно что-то расшумелись... Тогда она разбранила нас всех «vilaines», показала язык и зашикала. Мы не вытерпели, хотя ее выходка, скорее смешная, чем грозная, могла кончиться мировой. Помню, это случилось на масленице, в тот день, когда нас обыкновенно возили катать под Новинское. Мы собрались в классную комнату. Вильгельмины Ивановны там не было. Все отделение страшно волновалось. – «Mesdames, il faut nous plaindre, c'est abominable», – раздавались крики на всех лавках. – C'est l'affaire de la première... Marie, allez, allez tout dire à maman, puisque vous êtes la seule qu'on épargne... После долгих опоросов наконец порешили. Первая, стремя ассистентками, отправилась к маман. Все они дрожали как лист. Как-то было и унижительно жаловаться, и стыдно, что пошли с жадобой, не предупредив открыто Вильгельмины Ивановны, но дело было сделано. Девушки вошли в кабинет директрисы. Там сидела она, и совсем неожиданно, сама Вильгельмина Ивановна. Она казалась убитой. Но присутствие ее придало силы побледневшей депутации; по крайней мере, судьба устроила так, что жалоба приносилась, по крайней мере, в присутствии самой ответчицы. – «Что вам нужно, mesdemoiselles? – спросила директриса. «Я очень рада, что Вильгельмина Ивановна здесь, – начала Marie. – Первое отделение притесняют, маман...»

Задыхаясь, она выговорила все. Вильгельмина Ивановна не произнесла ни слова. Директриса выслушала и спокойно-повелительным жестом приказала им идти. Что произошло между ею и классною дамой, мы не узнали. Вильгельмина Ивановна никогда не помянула нам о жалобе. Думаю только, что самолюбие ее должно было сильно страдать, когда историю узнали прочие классные дамы, вдесятеро хуже ее...

В тот же день нас повезли под Новинское. Садясь в кареты, мы были очень удивлены, когда маман отдала приказ, что кроме первой ученицы, которая всегда уже ездила с нею, поедет с ней еще другая. Назначена была одна из депутации. Эта девушка никогда не ездила с маман... Помню, что и тогда выбор показался нам не совсем ловким... Если наш поступок стоил дельного внимания, все же он не стоил награды...

Маленькое недовольство собою и как будто сомнение в совершенном правосудии нашей высшей власти оставили нас очень скоро. В этот последний год мы уже до того привязались к нашей директрисе, что и помыслить не могли о ней дурного... Бог знает чем, но эта женщина закупала наше сердце. Если вам особенно нравилось быть в ее гостиной, то потому что она была там сама, и приветливо кивала вам головою. Гостей к ней приезжало не много, составлялись тайны, участвовали и мы, но очень мало и робко. В ее именины и рождение мы делали ей сюрпризы. Особенно мне памятливы живые картины этого последнего года. Костюмы были взяты из театра; гостиная директрисы уставилась декорациями. Мы придумали три картины: Аполлон и Музы, Наталья Долгорукова и Розьерка. Спектакль едва-едва удался, потому что мы все перессорились. Фанни Каменецкая, которая должна была представлять Розьерку, вдруг закапризничала. Что это за глупости! Что за коронование доб-

родители! Надо было скорее найти другую. Аполлон чуть было совсем не пропал, потому что поссорился с Анной Степановной, а первая ученица, которая в заключение должна была произнести стихи, совсем их забыла. Она вышла, присела и не сказала ни слова. Только смех директрисы восстановил общее веселье.

Праздник этот был в начале года, а два месяца спустя у директрисы случилась страшная семейная неприятность, и потом траур. Оба эти обстоятельства взволновали весь институт. Директриса была в отчаянии, она не помнила себя, ничего на свете. Мы плакали потихоньку, точно будто на все первое отделение надели траур. Проходя мимо ее комнаты, мы слышали плач и крики... Не могу сказать, какой ужас напал на нас... Так продолжалось несколько дней. Помню снов тогдашнее чувство, – престранное. Мне было очень жаль татап, но я обходила подальше ее комнаты, чтобы не видеть ее, и главное, чтоб она меня не видала. До такой степени мы чувствовали себя бессильными смотреть на горе и сказать искреннее слово. Искренность была в душе, но стеснение запрятало ее глубоко. Мы понимали, что к этой женщине, которая рвет на себе волосы, нельзя подойти с книксеном и поцеловать ручку; а подбежать, броситься на шею мы не умели. Поймет ли меня кто-нибудь из тех, кто вырос на свободе? Не знаю, но так было со мной, и с большей частью из нас. После первых отчаянных минут татап пожелала нас видеть. Эти слова, а отнюдь не приказание явиться, передала нам ее внучка. Класс понял таким образом, что надо идти только первым, потому что они ее обычные посетительницы. Свидание этих первых было тягостно. Девушки большей частью тоскливо молчали и спешили уйти назад. Из них Marie ходила к директрисе чаще всех. Она была ее любимица, знала это, но так же, как и другие, не могла пересилить свою тягостную робость.

Так прошло дней десять. В одно утро мы застали Marie и Настеньку в больших совещаниях. Совещания сперва были тайной, но когда нам их сообщили, мы пришли в восторг. Наши первые собирались написать стихи. В этих стихах должны были выразиться «чувства институток к страждущей татап». На бумажке уже было изображено заглавие: «Плач и утешение». Затем рифмованные строчки, перемаранные, потом опять строчки:

Наш ангел, наша мать, под чьим благим покровом,
Мы так цвели, так счастливо росли,
Ты страждешь, крест несешь... —

и прочее. Потом строчки покороче:

Отлетевшего ей сына
Покажи на небесах,
Без печали, без кручины,
И в сияньи и в лучах...

Мы заахали. Так у нас были свои поэты!

Стихотворение было написано и поднесено. Директриса плакала. Немудрено, когда так шевелили ее раны...

Но поверят ли, что рифмоплетство-то было искреннее? Да, вполне искреннее. Оно было последствием нашего бедного, извращенного чувства, которое умело высказаться только в какой-нибудь официальной форме...

Marie торжествовала. Хотя стихи были не ее мысль, а Настеньки, но она их написала. Они понравились. Бедный поэт и не подозревал, что над ним собирается гроза...

Не понимаю, что сделалось вдруг с Анной Степановной. Marie была в ее дортуаре. С тех пор как она заняла свое первое место в отделении, постоянно отличенная учителями,

инспектором, посетителями, всегда на первом плане в приезд царской фамилии, с тех пор Анна Степановна стала называть ее «своею гордостью». В ее дортуаре был будущий первый шифр; Анна Степановна могла, пожалуй, говорить, что это светило всем обязано ей, ее неусыпным трудам и заботам... Ссора с такою девушкой, казалось, была бы неуместна, хотя бы для собственного самолюбия Анны Степановны. Но ссора, однако, началась, и без малейшей причины.

Характер Анны Степановны решительно ускользал от нас, когда нам хотелось сообразить его. Она перепробовала над нашим отделением самые разнородные способы обращения, выказала свой ум, свое сердце с самых неожиданных сторон. То страшное запугивание, то кичливость перед девчонками, то вдруг бессилие власти до уныния, до унижения; маленькая, не нужная лесть, внезапные, из меры выходящие ласки со вчерашним врагом, похожие и на лицемерие и на глубокое, проснувшееся чувство, – все одно за другим, часто все вместе, выказанное в один и тот же день над разными личностями ее класса. Анна Степановна была неуловима. Может быть, из всех классных дам она была самая нелюбимая. В ней не было прямоты. Теперь, когда я о ней думаю, мне просто кажется, что Анна Степановна страдала тщеславием и маленьким *esprit d'intrigue*. Недостатки эти, до того обыкновенные в обществе, что едва ли не считаются там невинными, прекрасно и почти безвредно разошлись бы там на разные разности, – на желание нравиться, перещегоолять соперницу, отмстить ей, на умиление перед знатью и деньгами, на сплетню со всеми ее тревожностями, страхом, что узнают, и прелестью меткого удара. Наконец, в свете, Анна Степановна могла бы точно полюбить, быть любимой, успокоиться среди домашних забот, – кто знает? – измениться совсем... Но в четырех стенах института это было совсем не то. Неспokoйная душа Анны Степановны металась, отыскивая пищи, наносила вред себе, страшно портила иных, и, наконец, всех сбивала с толку.

В истории с Marie она выказалась вполне. В один прекрасный день Анна Степановна начала коситься, так, ни с чего. Взгляды были знаменательны. Marie, уткнувшись в книгу, не обращала внимания. За взглядами настал повелительный голос; та терпела. Положение все становилось грознее, желание снять передник все отчетливее, но не было ни случая, ни причины, да они не могли и прийти. Класс недоумевал. Приятельницы ломали головы, и наконец открыли дело: Анна Степановна приревновала Marie к директрисе. «Но как же так невзначай? Почему, когда прежде Анна Степановна и не думала о Marie и вовсе не любила ее?..» и т. д. Толков было много.

При моем сильнейшем желании найти в Анне Степановне хорошие стороны я готова даже сделать натяжку: я хочу верить, что ее возмутительное обращение с Marie было точно следствием ревности. Рядом с ней любили другую; любовь эта в последнее время стала так очевидна, о директрисе плакали, за нее молились... Может быть, Анне Степановне вдруг стало очень тяжело, очень завидно... Но злое чувство взяло верх...

Дело было на Святой неделе. После многих неудачных попыток Анна Степановна как будто немножко унялась. Подошла пятница. На другой день мы должны были опять ехать под Новинское. Катанье мы считали праздником из праздников. Как дорого нам было это удовольствие, можно судить по следующему образчику. Год перед тем, во время Масленицы, в Москве была какая-то эпидемия вроде гриппа. Наш доктор пришел в класс объявить, что кататься не пустит. «*Monstre épouvantable!*» – раздалось со всех сторон. «*Mesdames, запустимте в него башмаками*», – сказал кто-то на моей лавке. Орудие было уже в руках. Но доктор был человек весьма вежливый. Он приятно улыбнулся всей компании и на башмаки, и шаркнув ножкой, поскорее юркнул в коридор.

Зато об эту последнюю Святую погода стояла великолепная, здоровая, и мы непременно должны были кататься. Накануне мы гуляли в саду. Marie твердила уроки, но вдруг почувствовала небольшую головную боль. Она ушла в дортуар и прилегла на полчаса. Когда

все ворвались в класс, пришла и она. (Не помню, по какому случаю, мы проводили последние дни Святой не в дортуаре, а в классах.)

– Вы больны? – спросила Анна Степановна, встречая Marie с значительной ужимкой.

– Нет, благодарю вас, моя головная боль прошла, и я совсем здорова, – отвечала та, и взялась за книгу.

Анна Степановна помолчала.

– Вы больны, – произнесла она опять, через минуту, и так настоятельно, что мы отложили перья и тетради.

Marie подняла голову.

– Да, и скрываете нарочно. Вы очень бледны; по лицу видно, что скрываете.

– Уверю вас, я здорова, – возразила Marie. – я всегда бледна, это не новость.

– Извольте идти в лазарет.

– Зачем?

– Извольте идти и оставаться там.

– Но завтра катанье, – заметила Marie, удивляясь все более и более.

– Из этого ничего не следует; вы больны, вам нельзя кататься...

– Напротив, Анна Степановна, доктор говорит, что мне воздух необходим...

– Я ничего не знаю, что вам необходимо, – прервала ее Анна Степановна. – Я знаю только, что я вам приказываю идти в лазарет.

Marie вспыхнула.

– Но меня не примут, возразила она. – Доктор тотчас увидит, что я здорова, и что тут другие причины.

Мы сидели тихо, тихо. Прошло несколько секунд.

– Ну что же? – сказала Анна Степановна, показывая на двери.

Marie встала с своего места.

– Послушайте, Анна Степановна, – сказала она. – Если я, здоровая, завтра не буду кататься, все будут вправе подумать, что я сделала Бог знает какую вину. Кататься не пускают только самых отъявленных ленивиц, только самых дерзких *mauvais-sujets*; вы это сами знаете... Да и тех другие классные дамы прощают для такого дня... Кажется, я ни в чем не виновата, за что вы меня наказываете?..

– *Allez vous plaindre à maman*, – зашептали мы.

– Это несправедливость, это кровная обида, – продолжала Marie, выходя из себя. – Я сошлюсь на весь класс. Лазаретная дама не поверит, доктор не поверит, чтобы меня прислали не поделом, что это ваша прихоть; я не хочу терять в их мнении...

– Как вам будет угодно. Извольте идти, – прервала ее Анна Степановна очень твердо.

Вся дрожь от гнева, Marie накинула пелеринку и вышла. Случилось так, как она ожидала.

– Зачем же вас прислали, сударыня? – встретила ее лазаретная дама, улыбаясь и покачивая головой. – Дурно изволите вести себя, верно... Еще Анна Степановна добра; менажирует вас в глазах отделения. Могла бы, просто, оставить в классе, а то придумала благовидный предлог, болезнь будто бы...

Она смеялась. Приехал доктор и пожал плечами.

– Ночуйте в лазарете и пробудьте завтра, – сказал он. – Вероятно, ваша классная дама имеет на это свои уважительные причины.

День в лазарете прошел, Marie не каталась. С этого дня она дала себе клятву, что не вымолвит с Анной Степановной ни слова до самого выпуска. Анна Степановна и сама не хотела с нею говорить. Она глядела на девушку непостижимыми глазами. Оба врага, с искусством, достойным лучшего употребления, стали обходить самонаименнейшие случаи относиться

друг к другу. Ни лишней встречи, ни лишнего поклона, ни даже движения головою в ту сторону, откуда мог слышаться неприятный голос.

Месяц они выдержали таким образом. Marie начала худеть. Стеснение целого дня разрешалось вечером слезами злости и тоской, что завтра будет то же. Анна Степановна, должно быть, тоже, на просторе, давала себе волю. Один раз, позвав к себе безответную Дунечку Ярославцеву, она излила перед нею свое сердце. Дунечка стояла молча, принимая новые пелеринки, которые надо было раздать дортуару и пометить.

– *Vous êtes une ame angélique*, сказала вдруг Анна Степановна, в волнении обняв ее. – *Maie l'autre... l'autre... elle est horrible... ah, ce que je sens en sa présence!*

Дунечка передала разговор... У Marie был странный характер, какой-то неопределенный: смешение робости с порывами сильного гнева, настойчивости с терпением, доходившим до апатии... Когда она услышала новость, ее забила лихорадка. Мы, наконец, перестали понимать, что это такое. «Поди разбранись с Нероном», – советовали одни. «Проси прощенья, если тебе так тяжело», – говорили другие.

– Прощенья? да в чем же? вскричала она. – Я пойду, я объяснюсь, узнаю...

У нее побелели губы, она была страшна. Дело происходило в дортуаре; мы ложились спать. Marie довольно твердо подошла к комнате Анны Степановны. Мы ждали. Минут с десять она еще постояла у двери и наконец решилась войти.

Анна Степановна, кажется, первую минуту не поверила глазам.

– Что вам нужно? – спросила она.

– Я пришла спросить, за что вы меня ненавидите? – сказала Marie.

– Ненавижу? я? Кто это меня оклеветал?

– Вы говорили *mademoiselle* Ярославцевой...

– Спирту, спирту, где мой флакон!.. – вскричала Анна Степановна, опрокидываясь в кресла.

Marie бросилась к столику. «Комедия», промелькнуло в ее голове, и сунув флакон, в негодовании, с пылающими глазами, она выбежала вон.

Бедная Ярославцева чуть не схватила горячку.

– Зачем ты на меня сказала? – повторяла она среди бессонной ночи.

– Но, наконец, что же я должна делать?.. – спрашивала Marie.

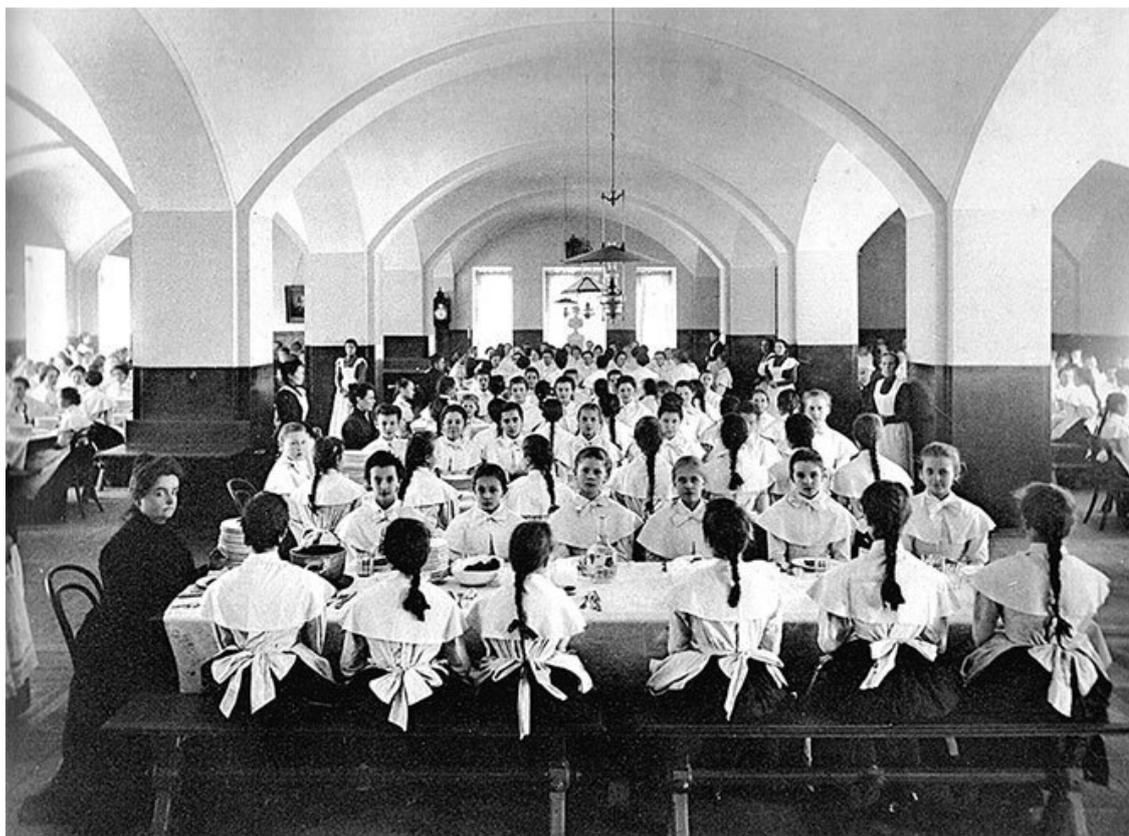
На завтрашний день оба врага опять принялись за прежнее. Ни слова друг с другом, ни встречи, ни объяснений. Так прошел месяц и еще месяц. Marie страшно похудела и даже подурнела от постоянного выражения злости. История ее до того затянулась, молчание не нарушалось так долго и так упорно, что молодая девушка, наконец, пришла в ужас. Будет ли выход из этого положения? Должен ли он быть? «Зачем, зачем я не пожаловалась маман?» – говорила она, ломая пальцы.

В ней явилось даже какое-то раскаяние.

– Ну, что я, попросту не сказала: *avez la bonté de me pardonner...* Но, да в чем же?..

Раз ей стало до такой степени тяжело выносить свою молчаливую битву, что мы встретили ее у дверей Анны Степановны. Marie шла в самом деле просить прощенья.

Но той не было дома. А на другой день, как нарочно, сама Анна Степановна еще хуже испортила свое дело. Она вышла на дежурство особенно горделивая и сердитая. Мы пришли в класс. Перед началом всегда читалась глава из Евангелия. Очередь была за Marie. Она взяла книгу, но Анна Степановна остановила ее грозным жестом.



Столовая. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.

– Allez, vous n’êtes pas digne délire l’Evangile... lisez, mademoiselle Fanny...

– О, когда так... – проговорила молодая девушка.

И она еще сильнее повторила свою клятву.

Пришла вакация, а они все молчали. Так как человек привыкает ко всему, то и Marie привыкла к своему странному положению. Она даже успокоилась, стала весела, и тихо занималась уроками. Вакация была не хуже предыдущей; грустного было только то, что две славные девушки из нашего отделения оставили институт. Мы горько их оплакали, но от прежних подруг беспрестанно летали записочки самого нежного содержания. Мы, как обыкновенно, сидели в аллеях. Дела было много, и потому тенистые своды лип оглашались прилежным жужжаньем. Лучшим способом запомнить мы находили ученье вслух и зажав уши. Другие находили, что моцион в этом случае полезнее, и мерили аллеи до сумерек.

Ходишь, ходишь... Но вдруг книга забыта, глаза смотрят в другую сторону... Со стороны мелькает наша тень... такая тоненькая, грациозная. Как бы повернуться так, чтобы она стала еще грациознее?.. Как бы убавить корсет, чтобы в талии было девять вершков? Очаровательные девять вершков! Только у Фанни во всем институте такая фигурка! Недаром Санковская, как увидела Фанни, назвала ее сильфидой... А личико? Как бы так похорошеть!.. Говорят, сок из бузины хорош от загара; чернильные пятна он выводит, правда, но это что-то скверно...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.